

С (Т98)  
3-49

ISSN.0130.531X

# УЛУГ·ХЕМ

23 1987

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ



СОЮЗ  
ПИСАТЕЛЕЙ  
ТУВИНСКОЙ  
АССР

23/87

# УЛУГ·ХЕМ



Литературно-  
художественный  
альманах

Основан в 1946 году

ТУВИНСКОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
КЫЗЫЛ — 1987

Редакционная коллегия:

А. К. КАЛЗАН, Д. С. КУУЛАР, С. В. КОЗЛОВА (редактор),  
Ю. Ш. КЮНЗЕГЕШ (ответственный редактор), Г. И. ПРИНЦЕВА,  
О. О. СУВАКПИТ, С. С. СЮРЮН-ООЛ, М. А. ХАДАХАНЭ,  
А. А. ДАРЖАИ.

Михаил ПАХОМОВ

## ТАК ВОСХОДИЛА ЗАРЯ

*(Записки очевидца)*

Как дотошный садовод перелопачивает землю на своем приусадебном участке, так и я разворачиваю в памяти свитки картин далекого минувшего. И мне, очевидцу, хочется поведать, как это было...

К тому незабываемому дню прошло ровно три месяца, как стало мне невыносимо горько: красный партизан Билчир возвратился из Тарлашкына и передал мне повод нашего Гнедка, на котором мой отец уехал в бой на врага. Навсегда уехал!.. Сколько было пролито слез тогда в нашей семье, теперь уж не измерить. Мать была больна, я, в четырнадцать лет, в доме за хозяина, и двое совсем маленьких ребятишек! Тогда еще не представлял себе, что гибель нашего кормильца была лишь малой толикой цены, которую заплатили партизаны Кочетова за блистательную победу при Тарлашкыне. В том неравном бою была наголову разбита крупная банда, черной гадюкой приползшая в наш край из Монголии, — остатки сокрушенной там белогвардейской своры барона фон Унгерна. На редкость жарким был тот бой: погибло в нем и получило ранения не менее половины отряда партизан, дважды был тяжело ранен и сам их лихой командир Сергей Кочетов...

И вот августовским днем, ничего не ведая, сидели мы в юрте друга Уруптара, угощались чаем с молоком да распаренными зернышками поджаренного проса. Темное от ветхости жилище друга стояло в кустах карагана на задворках нашей убогой усадьбы. Закончив пить чай, мы присоединились к старому хозяину юрты Сергелену, молча попыхивав-



шему трубочкой у очага. Уруптар был старше меня на целых два года и, как вполне взрослый, запалил свою трубку; не отстал от него и я: из клочка бумаги да крошек самосада смастерил «козью ножку» и, задыхаясь до слез кашлем, тоже нещадно дымил.

Между тем старик строго сказал:

— Сегодня у нас в деревне, ребята, большой хурал, сказывают. Не прозевайте: может, удастся что-нибудь послушать. Из Хем-Бельдира и из всех хошунов начальство понаехало. Важное, должно быть, дело-то. Наша Майылбаа ушла к командиру. Велел, сказала. Переводчицей, наверное, у него будет. Наши-то говорить ведь будут по-своему, где все понять командиру? Да и больной он еще, давно ли поранили... Я бы и сам пошел, да побаиваюсь: Ажыкай — там же! За скотом, скажет, не глядишь, а сюда приперся!

— Отец ведь у нойона в пастухах,— пояснил мне слова старика Уруптар.— Пойдем. Может, и сумеем что разглядеть да послушать.

И мы, сгорая от любопытства, быстрыми хариусами шмыгнули из юрты, перемахнули через плетень в наш огород, а там и на улицу и помчались к нардому — клубу, по-теперешнему.

А там уж — множество народу. Пешие мужики и бабы, молодежь зеленая, вроде нас, из нашей деревни да соседних аалов; особенно много понаехало верхом на лошадях — издалеких арбанов всех девяти хошунов, сказывали; скакуны в седлах под присмотром молодых парней кругами стояли во дворе и на улице — у заборов, а то и прямо середь дороги, помахивая в жару головами, отбиваясь от оводов.

И за что бы, казалось, нашей деревеньке такая честь — быть местом Великого Хурала всех девяти хошунов! Всего-то до сотни крестьянских дворов да еще два-три десятка юрт во-круг. Красотой окружающей природы она тоже не блистала, вид ее окрестностей на редкость был блекл: с северо-востока к околице подступали топкие болота да густые заросли колючих кустов карагана; на юго-западе от нее к дремучим кручам Танды расстилалась унылая, с холмами, степь... То ли дело — Чадан, окрест него разбросаны многочисленные аалы, стоянки аратов, рядом буддийские монастыри — хурэ. А вот не выбрали же его местом для столь важного собрания! Не выпало этой чести и городку, что зарождался в Хем-Бельдире, у слияния рек, хотя в нем, кроме сотни с небольшим семей рабочих да полутора-двух десятков юрт в окрестностях, размещалось несколько служб с Полпредством Советской

России во главе. Нет, именно у нас, в Атамановке, созвали Великий Хурал, и вот почему: в ней был штаб партизанского отряда края.

А в окрестностях, в Межегейском да Элегестинском сумах, с год назад организовалось первое Угудар Яамы — агитационное бюро с легендарным впоследствии Курседи во главе... Обо всем этом мы, конечно, слышали в те годы. А первый в Урянхайском крае Совдеп родился в марте восемнадцатого года в нашей деревне, и следом за ним — красногвардейский отряд. Как было не гордиться!..

Сестру Уруптара мы увидели у окна нардома: стояла, о чем-то весело разговаривая с Кочетовым. Давно ли бессловесной служанкой была у деревенских русских богачей, а вот теперь... Командир, должно быть, что-то рассказывал веселое, и Дуня, как мы на русский лад называли Майылбу, рассыпала серебристый смех.

— А что, Дуня тоже делегатка? — спросил я в недоумении дружка. Уруптар бросил на меня насмешливый взгляд, его широкие карие глаза улыбались. — Какая делегатка?! Отец же говорил, что товарищ командир вызвал ее переводчицей. Забыл, что ли?

Между тем жаркое солнышко припекало уже с макушки, и я хотел было податься куда-нибудь в тень. Но в это время дверь нардома открылась, и делегаты гурьбой повалили в него. Мы с дружком на такую благодать рассчитывать не могли и тут же прильнули к окну, стараясь разглядеть, что происходит внутри помещения.

Когда все скамейки были заняты, многие делегаты опускались на пол, кренделями подобрав под себя ноги, чтобы не мешать другим, или становились на колени — кто на одно, а кто и на оба.

Наиболее родовитые делегаты — в форсистых островерхих шапочках с атласными лентами да гарусными шнурками, свисавшими им на спины, в шелковых халатах — не только заняли скамейки, но взобрались на сцену и там опустились на пол. «Все повыше... нашего брата, «черноты», как навеличивают нас феодалы!» — пояснял мне на ухо дружок.

А те, кто сел на пол в зале, в большинстве своем были без головных уборов и как бы напоказ выставили косы, свисавшие с их макушек; лишь немногие с затылка повязали цветастыми платками, узелками вперед, бритые головы — то бывшие хуураки, ученики из монастырей, так и не обретшие должных познаний священной иерархии и оставшиеся ара-тами.

На принесенных из крестьянских жилищ табуретках у передней в зале печки-контрамарки разместились прибывшие из города гости: советский посол Фальский, наш партийный секретарь Чугунов, представитель Минусинска Сафьянов, их переводчик Медведев; там же примостились командир Кочетов с переводчицей и посланец Монголии со своим толмачом. Рядом с ними на полу, скрестив ноги, сидели Билчир и Курседи, оба по-ламски бритоголовые, но, как все араты, в темных халатах. Билчир весело перебрасывался словами с Кочетовым, а Курседи в сильной озабоченности морщил высокий лоб да щурил серые глаза.

В тесном помещении вскоре дышать стало нечем, и организаторы съезда позаботились выставить все оконные рамы. Мы с дружкой не преминули взгромоздиться на один из подоконников.

Чугунов негромко о чем-то переговаривался с Курседи. Их разговор переводил Билчир. Кочетов, указывая на сцену, где сгрудились вокруг хемчикского нойона Буян-Бадорху особо знатные чиновники, оживленно расспрашивал Дуню, и та полупшепотом отвечала.

— Сестра знакомит командира с нойонами, должно быть, — сообщил Уруптар. — Во-о-он, в углу-то на кукорках, это наш Ажыкай, табаком нос набивает.

— Так этого я знаю! Помнишь, как в прошлую осень мы с отцом муку ему за подой коровы отвозили, а ты нам дорогу показывал, — откликнулся я, и он, невозмутимо указывая на сцену, начал перечислять имена других знакомых ему вельмож.

Слушая Уруптара, я обратил внимание на то, что с потолка перед сценой в крашеной рамке свисал портрет Ленина, а по углам от него над делегатами реяли красные полотнища. Недоумевал: такое украшение зала бывало лишь по случаю празднования годовщин Октябрьской революции да еще Первого Мая, а тут? Ведь собрались не только свои, но вон, даже нойоны!

Между тем, за столом президиума появился человек: подняв над головой ладонь, громко попросил внимания, переводя обращение и на русский язык, и объявил хурал открытым.

За стол президиума пригласили Фальского, Чугунова и Кочетова.

Как и Уруптар, я не разбирался тогда во всех тонкостях речей ораторов. Понимал лишь: с каким-то неистовым торжеством говорили одни, с некоей грустью вспоминали ми-

нувшее другие, озабоченность судьбами своего народа высказывали трети.

В самом деле, думалось мне, почему же так случилось, что после революции в России прошло уже почти четыре года, а тут только теперь начали разговор о создании народного государства? Сколько уж пролито крови за свободу народа, а некоторые ораторы все еще побаиваются...

Уруптар старался растолковать мне:

— Чудак ты, Мишка! Не помнишь, что ли, как наши начальники извивались, будто червяки, когда шла война между партизанами и белобандитами. Они и здесь, на этом хурале, юлят, запугивают всякими бедами. А некоторые ведь еще совсем недавно призывали народ не менять никакой власти, а присоединиться к Монголии, да и жить, как жили.

— Но ведь такое могли болтать разве что нойоны! — не сдавался я.

— Так и на этот хурал понаехали они не молчать, — терпеливо разъяснял мой друг. — Но против создания народного государства теперь говорить-то не смеют.

— Да ты, братуха, здорово, оказывается, во всем разбираешься! — восхищался я осведомленностью семнадцатилетнего друга.

— Сестра Майылбаа да товарищ Билчир все это не раз нам растолковывали, — заключил Уруптар.

...Хурал работал не один день. Разойдутся, разъедутся его участники на ночь, отдохнут, запасутся продуктами, табак — и опять за прения. И мы, неутомимые зрители, занимаем облюбованные места на подоконниках, на завалинках нардома и смотрим, слушаем, о чем говорят умные люди...

Более или менее сносно понял я речь партизанского командира. Сергей Кузьмич коротко рассказал про борьбу своего отряда, в котором немало и аратов (при этом он, как я заметил, пристально посмотрел на боевого товарища Билчира) и, подняв руку к партизанскому знамени над сценой, обратился к хуралу:

— Товарищи и граждане! Вот под этим боевым красным знаменем и с именем товарища Ленина в груди мы бились с врагами за свободу советского народа и трудового аратства. И, не жалея своей жизни, одержали немало побед. От имени красных партизан я приветствую здесь весь тувинский народ и заверяю, что красные партизаны всегда готовы выступить на защиту революционной Тувы от нападения врагов русского и тувинского народов, откуда бы они ни появились!

Закончив короткую речь, Сергей Кузьмич, осторожно

переставляя ноги, видно, щадя еще не зажившие раны Тарлашкина и обходя свое место в президиуме, медленно сошел со сцены, присоединился к товарищам в зале. На его лице ярко полыхал румянец, задором блестели голубые глаза. Опустившись на табуретку, он наклонил ухо к Дуне, которая что-то бойко передавала ему полупшепотом.

На одном из заседаний хурала Уруптар обратил мое внимание на выступление невысокого человека, бритоголового, но в шелковом халате светского покроя (значит, не лама!).

— Смотри, Мишка! — толкнув меня в бок, горячо проговорил друг. — Хемчикский нойон Буян-Бадорху!

— Это который осенью-то прошлого года вместе с китайцами окружил наших в Оттук-Даше?

И живо вспомнился рассказ отца о том, как целый день бандиты держали делегацию Сафьянова и его охрану в окружении, палили по ним из пулеметов и даже из пушки дважды ударили. Отец особенно жалел погибшего там партизана Гурьянова...

Я заметил, как подробно переводил Медведев речь нойона своим товарищам. Впрочем, сам он был давнишним другом как Сафьянова, так и Буян-Бадорху! Фальский, сидя в президиуме, с особым вниманием слушал другой перевод — Сафьянова, который прекрасно владел тувинским языком.

Выслушав хемчикского нойона, Курседи что-то с возмущением прошептал на ухо Билчиру; тот недобро рассмеялся, поднялся и попросил слова. Ему разрешили, он проворно взобрался на сцену и, повернувшись к залу, заговорил.

Восторженной улыбкой светилось загорелое лицо партизана, его большие черные глаза блестели азартом охотника, еще сильнее, казалось, обострился тонкий, с горбинкой, нос. Густо пересыпая речь русскими словами, стараясь говорить сразу на двух языках, горячо жестикулируя, то и дело поглаживая свою крупную голову, Билчир говорил:

— Я шибко рад, товарищи, что наконец-то и у нас, тувинцев, родилось свое государство! Мы здесь установили и свой народный закон! Для нас, аратов, это большая, как солнце, радость, счастье, которое ни с чем сравнить невозможно! И все это мы смогли сделать, потому что смели с дороги всех иноземных врагов: банды русских белогвардейцев и Ян Ши-чао! Советская Россия — наша родная мать. Ведь там всеми делами правит партия большевиков и наш дорогой учитель Ленин!

Участники хурала дружно хлопали в ладоши. Курседи, слушая своего товарища, каждую его фразу сопровождал вы-



разительным кивком головы. Билчир, между тем, продолжал:

— Вы смотрите, товарищи, даже нойон Буян-Бадорху говорил здесь, будто он — давнишний и верный друг Советской России! А ведь совсем еще недавно он вместе с Ян Шичао чуть было не прикончил советскую делегацию в Оттук-Даше! Верно ведь, уважаемый товарищ Сафьянов? — обратился он к сидевшему в президиуме представителю Минусинского Совета. Тот кивнул. По залу прокатился негодующий говорок. Билчир не унимался: — Пришла, товарищи, и наша весна, народилось аратское счастье! У нас рождается и своя партия, аратская! Возглавляет ее товарищ Курседи, награжденный, между прочим, в двенадцатом году именным оружием за боевое участие в Кобдинском сражении монголов и тувинцев против китайских захватчиков. Теперь про Угудар Яамы знают во всех хошунах. Верно, товарищ Курседи? — обратился он к другу за поддержкой. А тот скромненько продолжал сидеть на полу в группе советских товарищей и, улыбаясь, кивал головой, полностью одобряя Билчира.

По окончании хурала, как засидевшаяся в клетке птица, первой выпорхнула к нам Дуня и, ласково потискав в объятьях братика, подарила и мне поцелуй в щеку:

— Вот, мои мальчики, и свершилось! — восторженно выпалила она.

— О чем это ты? — в недоумении спросил Уруптар.

— Так своя, аратская республика же! И у нас теперь, как у русских, народное государство! Присмирели и наши доморощенные господа, вроде Ажыкая с его холуями!

— Тевера-чагырыкчы имеешь в виду? — спросил Уруптар.

— Кого ж еще? Самый злой тиран над аратами!

...Ликованию, казалось, не будет конца. Смеялись араты и без привычки неумело хлопали в ладоши, приплясывали, как это делали, развеселившись, русские крестьяне.

Не меньше радовались и мы: лестно было сознавать, что местом рождения аратского государства стала наша немудрящая деревенька у родников заболоченной речушки Могой. Мы тогда, конечно, не могли знать, что в будущем правительство революционной Тувы присвоит ей имя Сергея Кочетова, командира красных партизан, стоявших на страже Октябрьской революции в центре азиатского материка.

«Заря коммунизма» — так потом назвали возникший здесь колхоз. И теперь, на пятом десятилетии Советской Тувы, совхоз здесь так же называется. Отразилась в этом народная память о начале революционных преобразований.

## ДЕТИ ЧАГЫТАЯ

(Из повести)

Вечер был теплый, с Чагытая дул ветерок, а скрывающееся за тучами на западе солнце уже не обжигало; его косые лучи освещали прогретую насквозь тайгу, все больше увеличивая тени от вековых лиственниц. Пахло смолой, хвоей, мхом, на ветках местами сновали пауки, деловито сплетая свои сети. Все было, как обычно: щебетали птицы, где-то невдалеке стучал дятел, лучи перебрались на вершину лиственниц, и сразу запахло сыростью и грибами, гниющей корой и лиственничными шишками.

Токтугу потянулся с хрустом в костях, скрипнули сухожилия, он перевернулся на другой бок на расшитой узорами старой кошме, подарке Найдан. Он любил так коротать время, особенно в погожие летние дни, дожидаясь своего часа на выстрел. А сегодня что-то не шел сон к нему, да и времени на отдых осталось мало, скоро надо выходить. Косуль становилось с каждым годом все меньше, охотников развелось много, а сыновья совсем по-другому живут, не так, как хотелось бы ему. Они все больше к юрте привязаны, скотоводы — лучше его, охотники из них, конечно, плохие, но если захотят, выследят и привезут любую дичь. У них винтовки, а у него что? Старая кремневка, деревянные рогатины, отполированные временем.

— Э-эх! — коротко зевнув, он посмотрел на коня, мирно пощипывавшего траву. — Да, чуть было Туметей не взял его в колхоз. Ну зачем он ему, такой старый, в колхозе? Толку от него мало уже. Его только на охоте держать. Здесь, в тайге, он не пропадет, трава отменная, сколько хочешь, пасись да пасись.

Он говорил сам с собой и не замечал этого. Раньше он был молчалив, в тайге привыкают молчать, но события последних дней выбили его из колеи, и он не знал, что делать: хотя в тайге все осталось, как и прежде, ему казалось, что и здесь все тронулось с места. Вспомнил свою молодость. Да-а... были времена. Он, молодой, горячий, приехал после разгрома маньчжуров, в год белой мыши, думал, что все, начнет жить по-другому, разживется скотиной побольше, перестанет ездить на охоту, начнет пахать, сеять просо. Но, приехав, он застал картину более мрачную, чем прежде: из трех

десятков овец, которыми они жили, осталось девятнадцать, коров, правда, прибавилось на две дойные и теперь их было восемь голов; шесть коней, две козы. Для чагытайских оюнараров это была среднего достатка семья. Все работали, в основном, на Ажыкая, бая оюнараров, который несметные богатства свои не мог до конца и сосчитать. Когда объединили его табуны для переучета, старший табунщик с пятьюдесятью своими помощниками и бесчисленными кайгалами так их растянули, что тужуметы, сидя на вершине горы, видели, как из глаз скрылись первые косяки за Межегеем, а конца за Элегестом еще не было видно, и сплошное море коней заполнило всю котловину между Межегеем и Элегестом. Табуны шли косяками, разбитые на масти: вороные, белые, карие, серые. Коров или овец считали только выборочно, затрачивая даже на столь приблизительную проверку огромные усилия. И несмотря на такие несметные богатства Ажыкай с сыном продолжали с утроенной энергией торговать, менять, посылать людей за золотом, серебром, сколачивать охотников для добычи пушнины в Тоджинской, Каа-Хемской тайге; да чем только не занимались люди Ажыкая, иногда попросту воруют скот у монголов, у хакасов и у тувинцев тоже... И приумножались несметные богатства у Ажыкай, а сам он из простого тужумета с годами все более и более превращался в хищника, которого и на словах-то было трудно определить, кто он. Амбын-нойон, верховный правитель Танну-Тувы, считал себя бедным по сравнению с Ажыкаем, и это не было преувеличением.

И вот этот Ажыкай, купивший все звания у амбын-нойона, после очередной поездки в Самагалтай возвращаясь к себе домой, завернул в аал к Токтугу. Взяв из многочисленной свиты двух тужуметов, он подъехал к юрте Токтугу. Не слезая с коней, они крикнули:

— Уберите собак!

Выскачившие из юрты Токтугу и Найдан растерянно махали руками на собак, низко кланяясь, приглашали гостей в юрту:

— Пожалуйте, дорогие гости, к нам, амыр-менди.

— Нам некогда сидеть да расслаживаться, — Ажыкай, слезая с коня, слегка покачнувшись, два тужумета с двух сторон бережно его подхватили. Но все же зашли в юрту и расселись на подставленные войлочные, расшитые узором олбуки, редкость в бедных юртах, но каким-то чудом имевшиеся у Найдан, приберегаемые для дорогих гостей и исключительного случая, которого в жизни почти и не бывает. Но вот и пред-

ставился этот исключительный случай. Найдан вытащила пиналы, стала споро разливать молочный чай, хлопотать, но Ажыкай глянул на Токтугу:

— Нам для разговора не нужны посторонние люди.

Токтугу посмотрел на Найдан, взгляд был красноречивым, и она выскочила из юрты и прогнала подальше чужих и близких, заметалась, отдавая распоряжения родным: пригнать и заколоть барана, снести со всех ближайших юрт хойтпак и гнать араку...

А в юрте разговор был коротким. Ажыкай, подбоченясь, смотрел на Токтугу и выговаривал:

— Говорят, ты герой. Ну-ну! Смотри у меня. Разорю и раздавлю, как муравья, если будешь и дальше продолжать в том же духе. Хватит того, что было, теперь забудь про Хопто, живи тихо и смирно. Понял?

— Понял, как же не понять, амыргы. Я и не думал ничего плохого делать. Маньчжуров прогнали, думал, теперь будем жить счастливо.

— Ишь ты, счастья захотел. Такого счастья, что ружье на власть поднимать?

— Что вы, что вы, великий амыргы! — Токтугу даже не заметил, что перебил Ажыкай и низко кланяется.

— Ну ладно, ладно, я дам тебе хорошего коня и забудем этот разговор. Будет время, сочтемся, такие герои нужны народу. Они будут нас охранять. Так, что ли?

— Так, так, великий амыргы.

— Ладно, мы поехали. Так смотри у меня! Приезжай через три дня, вот этот, — он ткнул в сторону одного из тужуметов, — даст тебе вороного коня и шелка. Это за твою службу. — С тем и отбыл, не поздоровавшись и не простившись. Прибежала запыхавшаяся Найдан:

— Ну, что там? Я велела барана заколоть, хойтпак собрать, араки нагнать.

— Ничего не надо. Они уехали.

Токтугу смотрел вслед «гостям» с нескрываемым раздражением:

— Купить они хотят, меня купить. Коня дадут, шелк обещал, но ничего, мы все это возьмем.

— Конечно, конечно, только ты не сердись, съезди обязательно.

— Тихо ты, женщина. Под дудочку Ажыкай не плясал и не буду плясать. Хоть и Оюн я, мало веселья в одной связке с таким хищником, он все может: и облагодетельствовать ради своей шкуры, и оболгать, и разорить — все он может, такой

уж негодяй. Наш урянхайский край стал нищий, и только Ажыкай процветает. Нет, Найдан, не думал я бороться с ними, а они меня подозревают.

На второй день Токтугу поехал к Ажыкаю, чтобы утром третьего быть у богача. На третий день вечером приехал он на красивом, крупном вороном скакуне, ведя на поводу своего коня, возбужденный и радостный, загарцевал возле юрты, и выбежавшие обитатели всего аала видели, как он красив и строен на этом вороном скакуне, и вечернее солнце играло в глазах Токтугу, они светились счастьем, как две звезды на темном небе. Счастье для тувинца иметь хорошего коня, но вдвойне он счастлив и чувствует себя слитным с конем, если это скакун, нет большего блаженства для него.

Богач выполнил свое обещание и, к удивлению всего аала, метров пять тонкого шелка с голубыми узорами кругами легли на плечи Найдан. И только после этого, спешившись, довольный собой, на весь аал и на весь мир Токтугу промолвил:

— Сколько живу на этом свете, первый раз такое вижу, чтобы Ажыкай мою жену одевал, да еще в герои меня записал; а может, я действительно это заслужил?

— Конечно, конечно, заслужил,— со всех сторон послышались одобрителный гул и хвалебные речи. Слегка возбужденные люди начали стихийно готовиться к тою.

И той удался на славу. Но с тех пор Токтугу никогда так крупно не везло. Охотник он был хороший, добычливый, в голодное время всегда жил с мясом. Танды, тайга великая, кормила всех, кто только мог поработать хорошо. А работать приходилось постоянно. Год на год не сходится, да и люди временами менялись: на смену большим охотникам, берегущим дичь и таежную живность, приходили любители легкой наживы, а после них в тайге было трудно жить, зверь из таких мест уходил. Там, где Токтугу приходилось подкрадываться босиком по снегу, чтобы наверняка бить зверя, такие любители стреляли издалека, не потрудившись подкрасться, и легко раненый зверь уходил, чтобы уже никогда не вернуться в эти места. В такие годы даже подкормка — пучками связанное сено и соль — не привлекала ни маралов, ни коз, и людям, живущим охотой, приходилось туго, семьи недоедали, а там, глядишь, и болезни разные принимались терзать людей.

...Наступила трудная зима 1919 года. Для кого трудная, но не для Ажыкай: в его юрте круглый год подсчитывались барыши. Эта осень принесла хозяину много пшеницы, проса,



серебра, золота. Пушнина от заготовителей текла мягкой ласкающей руки рекой; зима только началась, а амбар для пушнины был уже забит шкурками белок, колонка, лис; особой статьей шел соболь. Казалось, счастье само идет в руки, но хмур и зол был Ажыкай, верные люди доносили, что север, куда был обращен его взор, вдруг полил холодным дождем; да какой там дождичек — буря, самая что ни на есть опасная буря шла оттуда, и все надежды, связанные с севером, рухнули: Россия превратилась в опасную мачеху. Шел третий год, как скинули царя, а надежд на восстановление его власти не было. Араты осмелели до того, что, гляди, начнут бунтовать.

Ажыкай хотя и знал, что безмозглые тужуметы ничего путного ему не подскажут, растерянный, вынужден был собрать совет. Всегда единолично принимавший решения, он теперь был вынужден слушать других. Но весь этот сброд, наевшись, напившись, так ничего путного не решил; на третий день все же кое-что проклюнулось: избавить от неблагонадежных, кричали горячие головы, опьяненные аракой, перестрелять всю голытьбу, осмелившуюся послушаться! Как балзам на большое место, действовали на богача эти крики, он бы всех перевешал, всех бы сжег, а пепел — по ветру, по ветру. Но лисье чутье подсказывало, что это с некоторых пор очень опасно стало. Надо действовать иначе. И решение пришло неожиданно: собрать наиболее неблагонадежных и отправить подальше в тайгу. Оно даже развеселило его на короткое время: и в накладе не останется, и в хошуне спокойнее станет. Благонадежных можно по пальцам пересчитать: Курседь — раз, Дозулдай — два, Токтугу — три и так далее; десять, двадцать — что-то много получается. Разослали гонцов за ними, а сами продолжали думать. И вот придумали: отправить их сразу же, наделив всем необходимым на год, за Тере-Холь, а там видно будет. Если понадобится, то их там всяческими хитростями держать хоть пять лет. На том и разъехались.

Собирали неблагонадежных целую неделю и собрали с десяток человек, некоторые, почуяв неладное, скрылись. Ажыкай был вне себя, узнав, что не нашли Оюна Курседь, который уехал в Хем-Белдири, но виду не показывал. Хитрый Ажыкай встречал аратов непривычно приветливо, здоровался, расспрашивал о семье, чего никогда не водилось за ним; вдруг ни с того, ни с сего заговаривал об обычаях, о помощи нуждающимся — туману было много. Токтугу по этому поводу подумал: «Как над Чагытаем в дождливый день — сыростью

тянет». Но, как бы там ни было, снарядили их баи хорошо: дали, кроме основного коня, по три вьючных на человека; пороху, свинца дали, как на войну, на два года хватит. Дали чаю, табаку, сахару и условия поставили божеские: половину добычи за коней, а остальное по расчету за взятые припасы, сколько останется — все ваше. Удивлению аратов не было предела, ведь загребущая рука Ажыкая никогда не была так щедра, все, что добывалось, полностью прибирал к рукам. Да на таких условиях можно всю жизнь прожить. Хоть и холодом веяло от ледяного взгляда Ажыкая, все равно было весело и отчего-то хотелось петь и плясать.

Оюннары есть оюннары, чуть где-то солнышко блеснет — белозубая улыбка, а там хоть какой инструмент подавай, на любом играть мастера: хоть на бызаанчы, хоть на дошпулууре; хомус, игил, чего бы ни подали — будет песня, будет хоомей. Не унывает оюннар никогда. С шумом, веселыми играми, шутками и песней провожали охотников тогда, пьянели люди без араки, хоровым гортанным пением прощались охотники с провожавшими их членами семей. Не знали они тогда, что только через три года увидятся со своими близкими; сколько перевалов перейдут, сколько препятствий будет стоять на обратном пути! Не поняли они тонкой подлости Ажыкая. Подозрение иногда легкой тенью мелькало на лицах охотников, но тут же поспешно отгонялось прочь: как можно подозревать человека, так искренне пожелавшего им хорошей, счастливой охоты, давшего драгоценные припасы, порох и свинец? Нет, что ни говори, а есть в этом хищнике что-то от матери и отца...

Три дня шел снег и мягким покрывалом укрыл Танды, за ним ударили трескучие морозы, и, казалось, тишина покрыла всю землю. Иногда ночами далеко окрест разносилось в морозном воздухе пронзительное верещанье попавшего в петлю зайца, терзаемого лисой или совой, где-то, как выстрел, трескуче ломался лед на реке, и снова тишина опускалась на землю.

Радовались баи спокойствию, которое воцарилось в предгорьях. Новоявленный нойон Ажыкай, купивший свое звание у амбын-нойона Соднам-Балчира, построил хурэ в Монголии за свой счет и думал, что отмолит этим все свои грехи. Но последние дни показывали, что надвигаются более грозные события. Люди потянулись к партизанам, где-то собирались кайгалы-бунтовщики, создавали отряды, которые то распадались, то собирались снова. Богач чувствовал себя зайцем, попавшим в петлю, которая уже начинает затягиваться. Как

изолировать аратов от Советов, как вбить в эти тупые головы беспрекословное послушание? Шаманы и ламы, эти дети лисы и гиены, должны шаагаем внушать послушание. И никакой грамоты! Только дикость и полудикость аратов, при которой обман может быть главным оружием. Лучше лишиться части нажитого, чем допустить до власти народ. Надо бороться! Имея в руках несметные богатства, он мог бороться. И боролся! Метался то к кулацким бандам, то к белогвардейцам Колчака, временами его заносило и к монгольским войскам, руководимым такими же нойонами, как и он. Но не было покоя ему. Чувствовал, что он, как тот могучий тополь, вознесший свою крону высоко, поражающий людей своей величавостью в пору цветения; а чуть сильнее порыв ветра, или, не дай бог, буря — рухнет. И все увидят, какой он трухлявый изнутри. Но надо держаться. И виду нельзя подавать, как ты слаб. Он начал потихоньку распродавать скот, все движимое и недвижимое начало свое движение, все превращалось в золото и серебро, пряталось и перепрятывалось все, что было возможно спрятать, но надежды на людей было мало. У Ажыкай на слуг появилось звериное чутье, он терял доверие к ним, и все меньше оставалось людей, которым можно было доверять: каждый из приближенных норовил отхватить кус от его богатств. Даже кайгалы, которых он выкормил и вырастил, оказывались на стороне партизан, что уж говорить о чиновниках? Всякие там дузалакчы, мээрены, чаланы спят и видят, как бы его убить или отравить, дабы прибрать к рукам чужие богатства. Дай только слабинку — налетят, как воронье. С простым людом проще, его можно обмануть, а этих не обманешь. У-ух, воронье!

Араты, посланные Ажыкаем на добычу пушнины в верховья Сангилена, за Тере-Холь, вернулись и не узнали Урянхай, который теперь назывался народной республикой Танну-Тува. В местечке Суг-Бажы Всетувинский хурал принял решение о создании самостоятельного тувинского государства. Конечно, какие-то слухи доходили и до них, но чтобы такое?!

Но удивило вернувшихся с Тере-Холя то, что во главе правительства сидели нойоны. Воспользовавшись поголовной неграмотностью, они позанимали все правительственные посты. Хитрый лис Ажыкай и здесь не упустил случая, пробрался в правительство.

Когда Токтугу явился к нему со своими друзьями, бывший нойон Ажыкай был окружен той же свитой. Но были и перемены. У всех тужуметов из рук исчезли шаагаи, кото-

рыми они всю жизнь истязали аратов. Только у некоторых, наиболее упрямых, шаагаи болтались за спиной, стыдливо спрятанные в складках одежды; исчезли также головные уборы со знаками различия, все тужуметы стали носить шапки, отороченные собольими шкурками. Необычайно любезно принял Ажыкай охотников, принял все меха, и араты рассчитались за припасы и коней. Многие, в том числе и Токтугу, заработали по два коня, несколько метров материи, чай, табак. Конечно, Ажыкай, как обычно, их надул, напоив аракой. Но все равно встреча с родными после долгой разлуки радовала сердца.

Через несколько дней Токтугу был вызван к хошунному правителю, как теперь называли Ажыкай, в Межегей. Когда он прибыл, Ажыкай восседал в белой обширнейшей своей юрте, окруженный вассалами. Токтугу вошел в юрту и, по молчаливому знаку правителя, присел у порога. Ажыкай долго сидел, задумавшись, а потом изрек:

— Ты, Токтугу, по указанию правителя обязан безвылазно сидеть в тайге. Будешь охотиться в верховьях Дургена, на наших землях, а потому половину добычи будешь сдавать нам. Но не вздумай якшаться со смутьянами, головы тебе не сносить. Мы, облеченные властью нового правительства, не потерпим никаких вольностей. Отправим в Хем-Белдири, а там Курседи всех прячет в тюрьму или расстреливает. Он наш земляк и твой друг, но смутьянов не терпит. Так что ни с кем не связывайся, живи тихо и смирно, авось, пройдут эти смутные времена, и ты со своим семейством выживешь. Кто его знает, но в тайге-то ты выживешь. Вот тебе мое слово.

— Спасибо вам, великий амыргы, за доброе слово. В смутные времена мы живем, так я думаю, одному в тайге и сподручнее будет пережить такое время, никто меня не интересуется, никому я не нужен, так что последую вашему указанию. Только ссудите мне пороху и свинца еще раз.

— Что? Какой тебе порох, какой свинец?!— Тут один из приближенных зашептал Ажыкаю на ухо что-то, и он протянул:— А-а, для старого ружьишка, что ли? Дайте ему.

На том и закончилась эта последняя встреча с Ажыкаем. Через год с лишним Токтугу от жены узнал, что Ажыкай арестован за подготовку заговора, Курседи сам разоблачил его. А приспешники его, распространяя провокационные слухи, принялись уничтожать свой скот, подбивая на это и аратов. Часть скота, чтобы сохранить от конфискации, а также расположить к себе бедняков, стали раздавать под ви-

дом помощи во временное пользование. Но никакие ухищрения им уже не помогли.

Токтугу хорошо запомнил ту радостную весну, когда к нему пригнали две лошади — «красную помощь». Да что там лошади! Феодалов вывели, не стало кровососов, и тайга, с детства знакомая каждой тропинкой, вдруг стала шире, с вершин Танды стали просматриваться далекие Саяны, и, как на ладони, перед ним открылась вся Тува. И не сразу, а как-то постепенно дошел до его сознания очень простой и интересный факт: оказывается, вечно низко кланяясь феодалам, он никогда не мог распрямиться и увидеть даль; теперь спина распрямилась, и он увидел бесконечную синюю тайгу со снежными вершинами. Это было так хорошо и непривычно, что закружилась голова, захотелось петь. Никаких забот, никаких налогов и поборов, когда каждый тужумет мог отобрать все, что принесешь из тайги, увести последнюю корову, кормилицу малолетних детей, вдобавок применить телесные наказания ради потехи, а то и забить до смерти за неосторожное слово или брошенный взгляд. Все, все было...

Было. И даже как-то странно вспоминать об этом. Ведь прошло уже десять лет с той памятной весны, десять лет пролетели, как один счастливый миг. Вот уже средний сын Туметей хочет вступить в колхоз, а старший работает ветеринаром в госхозе «Элегест». Подумать только, учился в Москве, в самой столице Советского государства. Ладно, он-то до рогу жизни нашел, а вот Туметей...

— Пусть берет всех коней и идет в колхоз. Так тому и быть,— проговорив это задумчивым голосом, Токтугу опомнился: — О, уже глубокая ночь! До чего я задумался, всю вечернюю охоту пропустил. Но ничего, завтра на зорьке поохочусь. Однако никогда ничего подобного со мной не было. Вот дети до чего доводят отца — сам с собой говорить начал, видно, к старости.— Токтугу посмотрел на коня, мирно щипавшего траву, и подумал: «Завтра будет чудесный день. Привезу домой кошулю и провожу сына в Кара-Чыраа. Пускай живет в колхозе, выходит в люди. Ведь старшая дочь в Бай-Хааке работает, ревсомолкой была, а теперь член партии, присмотрит за братом». Поужинав на скорую руку лепешками и запив целебной водой из туеска, подкинул дров в костер, прикорнул рядом, укрывшись тонким одеялом.

Проснулся, когда выпала роса. Было еще темно, и крупные звезды, низко висящие над тайгой, блестели, слали вниз таинственные голубые лучи; некоторые из них подпрыгивали, словно пытались сорваться. Млечный путь утренним туманом



ном висел над головой в бездонной вышине, и не было сил оторвать взгляд от нее. Костер давно потух, было сыро, и чистый горный воздух слегка кружил голову. Хорошо отдохнувший конь позванивал удилами. Застоявшаяся тишина прервалась птичьими голосами: сначала в одном уголке леса раздался сигнальный свист, потом в другом, и сразу ожил весь лес, запищало, защебетало со всех сторон. Пора было спускаться по распадку к перелеску, где ходило стадо косуль. Конь под седлом шел, мягко ступая, — привык носить на себе охотника, ни один сучок не треснет под копытами.

Небо посветлело. Над тайгой разгорался новый светлый день, без единого облачка; сначала черное, затем темно-синее превратилось в светло-серое, и вот на востоке заголубело, первые лучи солнца коснулись вершин лиственниц. Конь остановился как вкопанный, и Токтугу в десяти шагах увидел косулю, мирно пощипывавшую траву, а за нею еще две стояли, настороженно подняв головы и поглядывая агатовыми глазами на охотника. Стояло чудесное утро, от земли шел пар, и все вокруг было настолько естественным и красивым, что Токтугу тихо рассмеялся и направил коня домой — нет, невозможно в такой день стрелять, это даже для охотника немислимо.

...Сборы сына были недолгими. Он забрал лошадей и, прощавшись с родителями, поклонившись родным, поехал в Кара-Чыраа. И долго еще мать стояла, заслонившись ладонью от солнца, смотрела вслед своему среднему, пока он не скрылся за увалами. «Будь счастлив, сынок!».



Монгуш КЕНИН-ЛОПСАН

## НА РЕКЕ ЛОСИНОЙ

*(Заключительные главы первой книги романа «Юрта табунщика»)*

Множество лиственниц в горном лесу — одна лишь статнее всех. Славен людьми совхоз «Хоглуг-Суур» — но кто здесь славнее всех? Славят в газетах труд чабана, награда ему не одна дана, славен и труд доярок, и им от души подарок. Табунщик живет от села вдалеке, коней пасет в горах да в тайге — может, поэтому слава где-то внизу, отстала? От бега резвого табуна должна непременно отстать она, хотя, говорят, крылата — угнаться за ним куда там! Множится в горных

лесах табун. В юрту любую, в любую избу, каждому — только скажите слово! — может он дать коня верхового, весь Хоглуг-Суур посадить на коней! Что может быть славней?..

Тумат Арган-оол не боится старости. Не замечает ее или старается не замечать. Дети растут — вот верное свидетельство прожитых лет. Давно закончил школу младший, Тенекпей, и армия у него позади, и попытка поступить в Московский институт международных отношений, завершившаяся вполне реальным поступлением в ветеринарную Академию в подмосковных Кузьминках. Каждое лето, за исключением того, когда сдавал вступительные экзамены, и следующего, когда на самой Украине побывал со строительным отрядом, он приезжает к отцу пасти табун. Нынче только задержался, экзамены сдавал не простые — государственные; сдал уже и диплом получил, да все не едет: новое, непривычное для них слово в письме сына старики прочитали — «аспирантура». Решится, мол, с ней дело, тогда и ждите в гости на остаток лета или насовсем, на работу. Место главного ветеринарного врача в совхозе его уже дожидается. Скоро, должно быть, заговорят в Хоглуг-Сууре: у табунщика Тумата дочка и сын — оба врачи, одна людей лечит, другой — скотину. Аспирантура — это, наверное, хорошо, но все же лучше бы сын жил рядом, делал понятное всем в этих местах и бесспорно нужное дело.

До сих пор так и не дали старому Арган-оолу настоящего помощника, будущую смену. Старший внук Хонак-оол с дедом сейчас в тайге: Тенекпея заменяет, табун пасти учится. Наездник он, правда, пока неважный, потому выбирает себе в табуне коня помирней. Дед подгонит этого коня поближе, внук кидает аркан — не всегда с первого разу, но заарканить удастся. И может уже объезжать, вслед за дедом, табун.

Дождь кончился только к рассвету, и сразу стало холодно. «Вот и лето к концу идет, — подумал старый табунщик, — похолодало в тайге, травы начали увядать. Приедет Тенекпей — погоним с ним табун вниз, к реке Лосиной».

Табун от дождя забился в кедровник. Если бы не Доруг-Дай, сразу и не найти. И что-то — да, верно, что-то неладно в табуне. Насторожились, наострили уши кобылы с жеребятами. Что случилось?

Опытному глазу табунщика нетрудно увидеть причину беспокойства: не волки напали — двуногий хищник похозяйничал! Было тут несколько молодых, глупых еще коньков. Игреновый верховодил ими — вот их-то и нет! Случалось, и

раньше отбивался от табуна игреневого, но сейчас, видно, дело серьезнее. Со стороны отвесной скалы, из густого кустарника выехал всадник, угнал отбившихся. След, хорошо заметный в траве, вел вверх по Уларлыгу. Арган-оол поскакал вдогонку и вскоре увидел и игреневого, и тех молодых жеребчиков, и всадника на рыжем. И по масти коня, и по волчьей повадке узнал табунщик этого человека.

— Стой, Чыландай! — закричал он что было мочи.

«Узнал! — застучало в висках у вора. — Узнал меня распроклятый старикашка, второй раз ведь узнал! Убить хотел тот раз, застрелить хотел, чуть жизни не лишил! Ну нет, теперь не дамся. Сам его застрелю! Гонишься за мной? Гонись, гонись на свою голову!» — и Чыландай все дальше гнал ворованных коней, и конь под ним не шел, не скакал — летел, привычный к таким погоням, рыжей молнией несясь вверх по горе, и в висках у вора стучало: «Убить! Застрелить!»

Жизни-то он, положим, не лишился в ту, прежнюю встречу с табунщиком Арган-оолом. В воздух выстрелил тогда старик, напугал только. Однако пришлось Чыландаю в тот раз лишиться очень важного — кошелька с деньгами. И ведь известно: для таких людей кошелек порой может оказаться дороже жизни, чужой во всяком случае. Что, скажите, было делать, когда пригласили его в сельсовет и выложили на стол желтый кожаный мешочек с немалой суммой внутри и с его именем на дурацкой вышивке:

— Твой? Бери да обскажи ладо́м, где и при каких обстоятельствах потерял.

Спросил-то свой, земляк, кажется, даже дальний родственник, председатель сельсовета, да показалось Чыландаю, за дверью уже и милицейская фуражка маячит. Так, было, и потянулась рука к кошельку, глаза уже, не раскрылся еще мешочек, через желтую его кожу видели, какие и в каком порядке там лежат бумажки, память подсказывала, как и за что они достались ему, Чыландаю: не за тяжкие, конечно, труды — обманом да хитростью. И на что могли пригодиться в ближайшее время, до следующего удачного «дельца», подсказывала. Но и где потерял, нарисовала — отчетливее некуда! Там и потерял, когда в страхе удирал от вскинувшего ружье вверх, в небо, табунщика, когда бросил коней — свою воровскую добычу, когда думал только об одном: спастись, удрать! И тут, в сельсовете, то же утробное, животное чувство самосохранения подсказало: черт с ними, с деньгами! Жив будет, на свободе будет — наживет. И он решительно отодвинулся тогда от кошелька: что вы, что вы, как можно брать

чужое, это же не его кошелек, у него совсем другой, он и показать может, имя вышито — так что же, мало ли на свете людей с одинаковыми именами, может, турист какой забрел в здешние горы да по дурости потерял свое имущество? И хоть никаких туристов сроду здесь не бывало, но ведь поверил ему председатель, поверил! Родство ли отдаленное сказалось, или просто невыгодно было признавать, что вот он, вор, рядышком столько лет ходил и никто не догадался; куда приятнее утверждать: у нас, мол, все — честные, нечестный разве что с туристами забредет. Объяснения Чыландая были приняты, кошелек передан в милицию как неизвестно кем потерянный, об отпечатках пальцев и прочем что говорить — захватили уже все, кому не лень, пока разглядывали да дивились. Легко отделался тогда Чыландай, одной потерей денег, выскользнул, можно сказать, как змея, давшая корень его имени.

И вот снова судьба, точнее — воровская наглость самого Чыландая свела его с табунщиком Арган-оолом.

По узкой ложбине, высланной сухой галькой, гремел конский топот. «Что я с тобой сделаю, вор поганый!» — гремело сердце Арган-оола, и он мчался, пригнувшись к коню. Доруг-Дая не нужно было подгонять плеткой: он и сам летел, вытянувшись, весь устремленный вперед, и уши его были прижаты, и зубы оскалены — мститель за сородичей, угнанных, проданных, сожранных воров!

Что-то черное, лохматое, неживое на дороге. Что это? Быстро скакал табунщик, но и на скаку разглядел: лиственница, старая гордая лиственница, испокон веку стоявшая здесь, на краю ложбины. Свалила буря крепкое еще на вид дерево, вывернулись из земли корни. Сжалось сердце: недоброе это предзнаменование. Говорят, молодое деревцо сломишь — не потерять бы ребенка; старое дерево упадет, увидит это старый человек — как бы самому с жизнью не расстаться. Повернуть назад, к костру, спящего внука увидеть, самому успокоиться? Ну нет, не таков Тумат Арган-оол: беззубого волка пожалел когда-то, но сильного, хитрого, зубастого хищника, без стыда, без совести забирающегося в чужие стада и табуны, не мог оставить на свободе. И еще быстрее полетел вперед Доруг-Дай. Уже на опушке леса вор с добычей, еще немного — уйдет, запетляет, скроется между деревьями. И метнул Арган-оол свой аркан, и дернулся, словно рыба, попавшая на крючок, бесстыдный Чыландай.

Кулем свалился вор наземь, забился, грязные ругательства выстанывая, выпутаться хотел из петли аркана — не вышло. С хрустом, по мелким кустикам таволги, подтягивал

к себе Чыландая табунщик. Тот обмяк, можно было подумать, сознание потерял — но это была уловка. Жалобно закричал, застонал вдруг:

— О-ой! Ребро, ребро сломал! Отпусти! Совесть поимей, отпусти!

Да, к совести честного человека воззвал бесчестный. И как ни умудрен был долгой жизнью Арган-оол Санчиевич, понимал же, что не Чыландаю о чести и совести говорить — нет, не смог не откликнуться на призыв о помощи. Соскочил с седла, пошел к поверженному врагу. Чертом вскочил Чыландай, откуда и вытащил свой обрез, ударил выстрел прямо в сердце табунщика. И он, столько диких коней укротивший, ни с одного, как бы тот на дыбы ни становился, как бы ни старался стряхнуть с себя седока, не падавший, — упал спиной на траву.

— Так тебе и надо, старому! — грязней прежнего выругался вор. — Зачем меня, человека, арканил?

Даже став убийцей, Чыландай все еще полагал, что он — человек.

— Вот сяду сейчас на твоего Доруг-Дая да погоню этих коней к Хемчику — на вертолете не догонят!

Но и в этом он ошибался. Других всю жизнь обманывал, обманул сейчас и себя.

Арган-оол лежал недвижимо, глаза его были закрыты — неужели уже навсегда? Стоя в зарослях жимолости, посматривал на своего хозяина Доруг-Дай. Ему не впервые было охранять сон Арган-оола, когда тот, в пути застигнутый усталостью, ложился где-нибудь под елью. Конь и сейчас ждал: вот-вот хозяин должен пробудиться. Очень спокойно стоял Доруг-Дай, и это придало смелости трусливому вору, убийце.

Снял с себя Чыландай аркан, размялся, повел плечами — ничего, вроде бы, цел, не ушибся даже. Только под мышками трет да побаливает. Оглянулся на табунщика — лежит, не встает. Значит, попал. И то сказать: стрелял-то в упор.

«Э-эй, старый, — загордился собой Чыландай, — что не поднимаешься? Видно, не сесть уже тебе больше на коня? Поделом тебе, дождался ты — сколько лет мне проходу не давал! Ну-ка, вспомни, не ты ли в колхозы всех сманивал да уговаривал на оседлость перейти, когда кочевали-то еще? Или не ты? Мал еще был я, да помню: отец мой только справным хозяйством успел обзавестись, чем он прежде промышлял, поди, сам знаешь — ты и его: в колхоз, в колхоз. И пошел ведь, боялся, что старое выплывет. Не помнишь? За-



был? В колхозе-то мой старик громче всех стал кричать: не надо, мол, нам коней, да разведем свиней, да козы не нужны, мясо у них жесткое. Что у самого отобрали, того и других лишить задумал. И удалось ведь, почти удалось — нет, опять ты поперек дороги стал! С нуля, как теперь говорить все наповадились, да, считай, с нуля восстановил это самое конское поголовье в совхозе. Да вон и козочки по горам пасутся — целая пуховая ферма. Плохо ли? Кому хорошо, мне, Чыландаю, плохо. Потому что не мои они. Государственные. Для меня, значит, чужие. Чужое приманчиво, так и берет охота присвоить да в оборот пустить.

Тебе этого не понять. Я ли не намекал тебе однажды: на границе, мол, живем, ну, что тебе стоит отогнать пару-другую коней, еще какой там животины у соседей-монголов? Ты бы угонял, я продавал, выручку пополам бы делили! Да еще бы я в твой таун колхозных коней добавил, с Хемчика, хочешь, продавай, хочешь, себе бери. Как ты заорал на меня тогда! Пограничниками грозил, милицией! Пришлось все на шутку повернуть, не всерьез, мол, я, к слову. Ох и чует мое сердце: не пальни я в тебя сегодня из обреза, лизать бы мне пол тюрьмы! Как бы не так. Успел. Пальнул. Лежи теперь здесь со своей честностью.

Я вот — живой. И как живу! Получше Семис-оола, передового вашего чабана. Ему премии дают — я сам себя премирую. Ему «Волгу» без очереди предлагают — я их, может, четыре или пять могу купить, если захочу. Не хочу только: к чему она здесь, в горах, на коне сподручнее. Э-э, такое-то и ты говаривал, что на коне сподручнее. Ну, это единственное, на чем наши с тобой мысли сходились. Вкальвывает-вкальвывает самый работающий хоглуг-суурский механизатор, строитель ли, — и что у него дома? Корова одна, чай молоком забелить? Пять дойных коров держу я, Чыландаю, хочу — молоко пью, хочу — араку гоню!

Не слышишь меня? Вот и хорошо! Никто меня не видит и не слышит, никто не знает, куда погоню я этих коней, неуловимый я, непобедимый, непревзойденный вор! Пограничники, и те меня не поймали! Всех проведу, всех обману! Никто меня не слышит и не видит, разве что твой Доруг-Дай, так и он теперь уже не твой — мой!», — и убийца стал подходить к лошади.

Спокойно стоял Доруг-Дай. Ждал, когда проснется хозяин. Думал свою лошадиную думу:

Стою, отдыхаю от долгого бега, от хрипа погони. И ты растянулся, усталый, на мягкой зеленой траве. Стоят, отды-

хая, всегда богатырские кони. Усталый, всегда ложится в траву человек. Я жду тебя: встань, пробудись, оседлай меня снова, мы шагом поедем, спокойно пойдём через лес. Подходит чужой? Не подпущу я чужого! Чужой человек не сумеет мне на спину влезть. Подкованы сталью, как сталь, крепки мои копыта. Я волка ударю — и станет он шкурой пустой. Стою, отдыхаю. Но что же ты спишь как убитый! Вставай! Унесу тебя к юрте над Лосиной рекой.

И открылись глаза Арган-оола. Почти не понимая, почти не узнавая, смотрели. И вот им стало видно: чужой человек прикасается к Доруг-Даю.

Сперва Доруг-Дай просто отскочил немного в сторону и снова взглянул на лежащего хозяина: не поднимется ли, не придет ли на помощь? Увидел, как приподнял голову Арган-оол и снова уронил ее на траву. И понял конь: нет, помощи от хозяина ему теперь не ждать. Самому надо защищать и себя, и хозяина.

Чыландай помялся, подступил поближе. И что так захотелось ему сесть верхом именно на Доруг-Дая, на коня застреленного им табунщика? Свой рыжий конь стоял в отдалении и ждал, вскочи на него — и помчится воровскими тропами, погонит отогнанных от табуна коней. Нет, прямо-таки жгло Чыландая желание покорить, подчинить себе Доруг-Дая. Старый уже конь, со своим хозяином сжился, сросся, можно сказать, и хоть статен еще и легок, но есть и завиднее, каких только не приходилось вору угонять? Но он хотел сесть на Доруг-Дая.

«Что же ты делаешь, подлый вор!» — хотел закричать, но не смог, про себя только произносил эти слова, обессиленно лежа, Арган-оол. Он понимал уже, что не сможет подняться, что не родник из скал — кровь из его груди, пенясь, выбегает, убегает от него. Понял и вспомнил уловку вора, ощутил тот толчок в грудь, от которого упал. Жаркий полдень стоял, давно сошла утренняя прохлада, но и холод, смертный холод ощущал уже Арган-оол в пальцах рук и ног. Поднять бы руку, взмахнуть, думалось, — и Доруг-Дай подойдет совсем близко, и тут уж он сумеет дотянуться до стремена, поставит в стремя ногу — вот он и в седле, привезет его конь к юрте, на речке Лосиной; потом — Хоглуг-Суур, больница, умные руки дочери-хирурга. Но не поднималась уже рука, застывала, немела.

«Собака ты! — мысленно обращался умирающий к вору, к своему убийце. — Нет, ты хуже собаки. Собака юрту сторожит, отару сторожит, табун сторожит. Был бы здесь верный

пес наш Ирбиш — давно бы ты лежал с перегрызенным горлом. Нет Ирбиша. Нет Тенекпея рядом. Где ты, сынок?»

И снова мысли израненного, теряющего кровь человека возвращались к убийце:

«Будет ли предел твоему коварству, злодейской хитрости? У подружки своей матери, древней старухи, единственного коня украл — это все знают. Знают и молчат. Почему молчат? Почему не положат конец твоим злодеяниям? Змея-Чыландай, когда же, наконец, лопнет твое набитое брюхо?»

Ты ведь тоже, как все люди, родился. Ребенком был. Рос. Чему научил тебя твой отец? Пить научил, воровать научил, ворованное продавать, выручку пропивать, опять идти воровской тропой — так, что ли? Почему доброму ничему ты у него не выучился? Или не было доброго, чему бы учиться?

Дети мои, внуки мои Тенекпей, Хонак-оол, От-оол! Вам уже не услышать меня, и мне вас не увидеть — все равно оставляю наказ: не пейте. Не поддавайтесь соблазну пьянства, соблазну безделья. Пьянка рождает вора, безделье рождает вора. Чужая вещь нечиста. Никогда, ни разу в жизни не дотрагивайтесь до чужого! Нет человека подлее вора. Нет зверя подлее вора. Волк-сыроядец овцу утащит из стада, если голоден. Сытый, и волк отару не тронет. Вор никогда не сыт! Так пусть он мечется, в вечном своем голоде, пусть воеет по-волчьи, не будет ему покоя, рано или поздно настигнет его возмездие! Помните это, дети мои, внуки мои.

Жить нужно, работая. И умереть — работая? Сам предсказывал себе такую смерть. Вот она, подступает. Не отпустит уже. Где же твоя пенсия, старый табунщик, где твой теплый дом в веселой деревне, где тебе смена? Балчий-оол? Тенекпей? Хонак-оол?

Умираю? Неужели я умираю? Здесь, на зеленой иртыш-траве? На ней и останусь. Не уносите меня в деревню, не хочу лежать на кладбище. Здесь похороните, на горном хребте, у реки Уларлыг, где я пас коней, где пал от пули врага. Вор — это враг. Он убил меня на посту. На моем пограничном посту. Но и ему не жить!»

Внезапно рассеялась мгла, среди ясного полудня уже заволакивавшая глаза Арган-оолу, и увидел он: его конь, его Доруг-Дай, перестав отстраняться от подлой руки вора, со всего маху ударил Чыландай в живот копытом! Крик — не человеческий и не звериный, одно ясно — предсмертный крик прорезал тишину гор и сменился хрипом, и смолк. Жалкой тряпкой, пустым мешком лежал вор на земле. Брезгливо переступил через него конь и подошел к хозяину.

«Кто воровал коней, погибнет тот от коня. Видел сейчас я это своими глазами. Конь мой, спасибо тебе. Конь мой, прости меня. Я ухожу от тебя. Я тебе не хозяин.»

Не было у Арган-оола сил сказать это вслух. Холод сковывал уже его всего.

— Тенекпей! Сынок! — чуть слышно шепотом выдохнул он, прежде чем в последний раз закрыть глаза. И никто — даже Доруг-Дай! — этого не услышал.

Оседланного гнедого коня без седока заметили пограничники в дозоре. Майор Повидайко узнал в этом коне Доруг-Дая.

...Наступили морозы, и все прояснилось. Тетушка Севил, как и прежде, когда был жив ее муж, перекочевала на зимнюю стоянку в Алдырык. Рядом с ней, как уже давно привыкли, поселились старая Чашпай со своим Хек-оолом. На похороны прилетали все: и Тенекпей, и старший сын Балчий-оол, дважды орденосец, знатный хову-аксынский горняк, прервал свой отпуск в Крыму, вместе с невесткой Серенмой отдал отцу последний долг. Не отходили от матери Ошкулдей с зятем Тарасом. Но потом все снова разъехались, ребятишек забрали с собой, и трое стариков остались одни.

Все бы ничего, ко всему можно притерпеться, одно совсем плохо: некому смотреть как следует за табуном. Хек-оол, по слабости здоровья ночует в юрте, по утрам, взгромоздившись кое-как на лошадь, едет пересчитывать поголовье. И, как нарочно, что ни ночь, то и урон: не жеребенка волки задерут, так отобьется пара-другая коней, ищи их по тайге. Приедет к юртам, поделится со старухами очередной бедой, поохает, к вечеру снова на лошадь да в табун. Что и удивляться: к морозам разболелось от такой жизни у него опять нутро, стал поглядывать в сторону Хоглуг-Суура, больницы, потом и вовсе скрутило, и на лошадь не сесть. Две старухи — что они могут? Зимой кобылиц, конечно, не доят, но и другой работы на стоянке всегда довольно, тем более, от единственного мужчины нечего помощи ждать. Крутятся целыми днями по хозяйству да вспоминают, каждая — свое, каждая — своего. И не едет никто к ним на стоянку, вроде, совсем она забыта: в Хоглуг-Сууре свет горит электрический и собрания, кино тоже, в Алдырыке тишина, тоска, безлюдье.

**Тенекпей тогда, летом, сразу после похорон отца улетел в Москву. Какие-то свои дела доделывать. «Приеду,— обещал матери,— ты не болей»,— наказывал. И нет его до сих пор. И когда снова объявится — жди!**

Но однажды, осенним днем, Тумат Тенекпей взбежал по ступенькам конторского крыльца в Хоглуг-Сууре и распахнул дверь в кабинет директора совхоза. Кабинет был пуст, но на вешалке в углу парень увидел безрукавку на меху, лохматую шапку и решил подождать. Сел, поставил под ноги чемодан — и к сестре Ошкулдей не заходил еще.

Директор Монгуш был в соседнем кабинете, почти следом зашел. Обрадовался.

— Приехал, наконец, Тенекпей Арган-оолович? Наду-мал? Принимай дела, сколько нам еще без главного ветврача оставаться. Как сбегал прошлой весной прежний специалист, так и кукуем, можно сказать. Давай, начинай работу. Сейчас и оформим. И на ферму, может, сразу съездим с тобой? Ты, кажется, интересовался пуховым козоводством, так вот, на козьей ферме сейчас... да ты что молчишь?

Тенекпей действительно еще и рта не раскрыл. Может быть, многоречивость директора не дала ему это сделать?

Множество директоров сменилось в совхозе «Хоглуг-Суур» с самого его основания, и председателей в колхозе до того — не меньше. «Дух такой в наших горах появился — начальство не держится!» — шутили, бывало. Один, помнится, надумал индюков здесь разводить — за то и снят был с руководящей должности. Другой свиноводством пробовал заниматься и тоже ошибся. Разведением кур и выращиванием кукурузы увлекся третий, остался на зиму без кормов, птицеферма сама заглохла. Потом заезжий был, в большой лохматой кепке, имя-отчество и не выговорить, фамилия как-то на «ян» заканчивалась, тот большое строительство развернул, силами бригады, откуда-то издалека приехавшей, но, так ни одного объекта и не закончив, исчез вместе с той самой бригадой. И долго еще приезжали, по их следам, серьезные люди с папочками-тесемочками, из районной прокуратуры и из республиканской. Словом, иные предлагали уже назвать совхоз «Чеди-дарга» («Семь начальников») или даже «Чеди-бук» («Семь духов»). Болат Бопунович Монгуш сам не сказал бы, который он тут по счету, но относился к делам хозяйства, пожалуй, ответственнее и рискованных новшеств не вводил. Разве что основал пуховую козоферму, на пяти стоянках — около семи тысяч белоснежных ангорских коз. Любил эту ферму, опекал. И на другие участки — молочное животноводство, сарлыководство и прочее — находил время, во всякие мелочи вникал. Вот и сейчас делился с новым главным, как

он намечал, ветврачом, человеком образованным, да к тому же коренным жителем здешних мест:

— О козоводах мы заботимся, и об овцеводах тоже. Кинопередвижку посылаем, агитбригаде транспорт даем. Кормами все стоянки обеспечены. Тут недавно доярки жаловались, мыла нет, так я распорядился вчера — целый ящик мыла на молочнотоварную отправили, заодно и муки завезли.

Да, обо всем заботиться успевал директор, только до коневодства что-то руки не доходили. Он и об этом вспомнил, но как беречь душу молодому специалисту? Поработает — узнает, может, и найдет кого на замену покойному отцу.

Макушку сломить лиственнице молодой — будет расти, но станет навек кривой; душу живую смолоду кто обидит — черствой станет душа, в мире добра не увидит. Знал директор эту народную мудрость; понимал, насколько уместно твердо держать ее в памяти сейчас.

Тенекпей все молчал. Решимость, с которой он вошел в кабинет директора, не то чтобы была поколеблена, однако заготовленные заранее слова он растерял и уже немного калялся, что не зашел сперва к сестре, с ней и зятем не посоветовался. Все же решение принимал не из простых.

— Один приехал-то? — участливо спросил специалиста директор. — Долго что-то задержался, не женился ли там, в Москве? Или здесь есть кто на примете, может, к Новому году и свадьбу справим?

— Нет. Никого у меня нет, кроме матери, — наконец, заговорил Тенекпей.

— И подружки нет? Ну, мы тут найдем, непременно найдем, — торопливо продолжил разговор на веселую и душевную, как полагал, тему Болат Боунович.

— Стоит ли вам беспокоиться? — слегка улыбнулся молодой специалист. — Не до того сейчас. С этим и обождать можно.

Не станет же он говорить, вот так сразу, директору, что давно нашел себе подругу в Хоглуг-Сууре, еще в школе нашел, да только нет ее здесь теперь, разве что на гастроли когда приедет — актриса! И что еще давно, в театральном институте, стала она женой такого же молодого актера. Отец мечтал женить младшего сына, помянуть новых внучат — не пришлось. Но и до смерти отца не ладилось у Тенекпея отношения с девушками, как будто и загорался, бывало, но одной-двумя встречами, коротенькой какой-нибудь записочкой все кончалось. Ни одна не могла заменить ему Чинчижик.

— Да-да, конечно, не до того,— согласился Болат Бопунович.— Сначала на работу надо оформить, квартиру — ну, сразу не обещаю, пока, может быть, в общежитии комнату, ничего, а? В новых домах что-нибудь выделим.

— Спасибо, я не нуждаюсь в квартире,— заявил Тенекпей.— У меня есть где жить.

— У Ошкулдей Арган-ооловны хотите? Не знаю, насколько это будет удобно,— высказал сомнение директор,— все же тесновато, у них с Тарасом Михайловичем дети.

— В юрте буду жить. У матери, на Алдырыке, летом — на Лосиной. В юрте табунщика,— наконец-то Тенекпей высказал, что хотел.

— Непосредственно на производственном участке?— призадумался директор.— Неплохо, неплохо, тем более, что коневодство у нас в совхозе, как бы вам сказать, несколько подзапущено за последнее время. Там и овцеводы рядом, но как же остальные участки? Козоферма, молочнотоварная?

— Это не мои участки. Я прошу вас, Болат Бопунович, оформить меня на работу табунщиком.

— Как табунщиком?— не поверил директор.— И для этого вы учились пятнадцать лет? Пять лет — только в Академии, это подумать! И — в табунщики? Как же ваша аспирантура?

— Аспирантура никуда не уйдет,— совсем уже обрел решимость юноша.— Я и задержался оттого, что оформлялся в заочную. Теперь все бумаги в порядке, можно работать. Тему диссертации только пришлось переменить: вместо пухового коневодства в условиях Тувы по коневодству буду разрабатывать.

Что оставалось директору, как вы думаете? Радоваться, что нашелся, сам, добровольно пошел на такую трудную и не очень заметную работу молодой, сильный, здоровый табунщик? Но, получив табунщика, совхоз останется опять, и неизвестно, на какой срок, без главного ветеринарного врача. И где теперь взять еще одного специалиста, кто его сюда направит, когда уже есть в хозяйстве человек с дипломом ветеринарной Академии! Скажут еще, что государственные средства, затраченные на его обучение, выброшены на ветер, и так ведь могут сказать!

— Болат Бопунович, вам письмо,— приоткрыла дверь секретарша.

Директор взял конверт, распечатал, стал читать. И настолько удивило его совпадение текста письма с тем, о чем они только что говорили с выпускником ветеринарной Ака-

демни Тенекпеем Туматом, что он, пробежав несколько строк про себя, вернулся к началу и читал уже вслух:

«Директору совхоза «Хоглуг-Суур», уважаемому Болату Бопуновичу Монгушу! Главному зоотехнику и всем, кто там еще есть в конторе!

В первую очередь, мои большие начальники, желаю вам здоровья и долгих лет жизни. У меня, дорогие мои начальники, никаких личных просьб к вам нет. И обиды на вас тоже нет никакой. Я вас так всегда уважал, что конь мой ша-рахался, когда случалось встретить кого из вас на дороге.

Человек я немолодой, но глаза у меня видят лучше семикратного бинокля, слух и чутье подобны медвежьим. Вы меня не знаете, не называю себя, дорогие мои начальники. Скажу только, что мне пятьдесят семь лет, у меня пять дочерей и три сыночка, жена работает в бане, где сам работаю, не скажу, но работа у меня хорошая и зарплата тоже. На жизнь хватает.

Так вот, уважаемые и дорогие начальники, о чем я хотел вам сказать. Безобразия творится у нас в совхозе с тех пор, как пал смертью храбрых, иначе сказать не могу, наш старый табунщик, по имени умершего не называю — не положено. Вот он, значит, пал смертью храбрых, и теперь такие безобразия, просто сказать не могу. Водовоз запряг жеребую кобылу, гонял ее, пока жеребеночка не скинула. Я увидел такое безобразие, возмутился, стал спрашивать, какое такое он имел право жеребую запрягать и где взял ее, и кто ему позволил. Хек-оол, говорит, позволил, сам лежал, в нутре у него болело, водовозу сказал, езжай, мол, к табуну и выбери любую лошадь, какая тебе приглянется. Тот выбирал, конечно, помирнее, видит, эта смиренная и в теле, вот ее и взял, и погнал, даже не заметил, что жеребая. И загубил плод. Это разве же возможно было, пока жив был наш табунщик? Хек-оол заш только и знает, что у него самого болит, не понять ему, что и лошади тоже живые, и у них болеть может. Ему все равно. У меня теперь душа болит за ту кобылу да за жеребеночка, за весь табун.

Не подумайте, дорогие мои начальники, будто я в табунчики прошусь. Нет, у меня работа своя, и квартира, и семья большая, мне никак из деревни уезжать нельзя, ни на какую стоянку. Опять же, в бане жена работает, я каждую неделю хожу парюсь, привык, на стоянке-то — какая баня? Культурно жить я привык, и жена тоже, но найти-то человека, чтобы табун ему доверить, неужели вы не сможете?

Еще одно расскажу. Проезжал я недавно мимо Дунгур-



луг-Тея. Места там глухие, в старину говорили, по ночам шаманский бубен слышен, сторонились, не гоняли туда скот. Наш геройски погибший табунщик, однако, пас коней в тех местах. Они и сейчас, по старой памяти, без присмотра-то, забредают туда. Так вот, еду я мимо Дунгурлуг-Тея, слышу, сороки-вороны раскричались, разгалделись. Подъехал ближе, спугнул их, гляжу — лежит голова конская сивая да бабки с копытами, все четыре. Тавро разглядел — нашего совхоза. Волкам, значит, скормили сивую. Жалко мне стало, верите ли, слезы покатались. Повесил я голову лошадиную на листовенницу и поехал дальше, да что же это, думаю, такое, волкам уже совхозных лошадей скармливают! Вот болит душа, верите ли, болит да и все тут.

У нас граница рядом, пограничники из совхозного табуна лучших коней берут, по договоренности, конечно, с вами, мои начальники. Может, вы приказ отдадите на военный лад: отслужившие в армии парни пусть идут табунщиками, в порядке мобилизации, кто не отработает год-другой с табунном, того ни учиться не посылать, ни другой работы не давать? Может, так будет лучше? Подумайте, мои начальники, вы ученые люди, вам видней. К сему подписываюсь

Н о с п о в с ю д у с у ю щ и й.»

— Да-а,— протянул директор, отложив письмо.— Вот не анонимка, но и не фамилия же это — Долгай-Думчук! Собственным именем все-таки побоялся подписаться. Узнать-то недолго: детей много, жена в бане работает. Да не в этом дело. Правильно он — о табуне. И насчет жеребой кобылы, и о разодранном волками сивке мне тоже докладывали. «В порядке мобилизации» — это, конечно, перехватил. Но действительно подобрать среди пришедших из армии — это надо попробовать. Не вам же, в самом-то деле, с вашим образованием, табуны пасти!

— Мне и именно мне! — как припечатал Тенекпей.— Это письмо тому подтверждение. Я решил. Дайте мне направление, и я сегодня же отправлюсь в Алдырык.

— Может быть, все-таки временно? — предложил директор.— Пока не подыщем другого человека? И место главного ветврача за вами сохраним?

— Да нет. По крайней мере, пока не закончу заочно аспирантуру да смену себе не воспитаю, буду работать с табунном,— завершил разговор Тенекпей Арган-олович. И директор, вздохнув, передал секретарше его документы, в том числе и диплом с отличием, для оформления на работу, по

мнению Болата Бопуновича, не то что высшего — среднего образования не требующую.

Но кто в каменистых горных местах книгу жизни листал, тот знает: пеший — словно хромою на высоте такой. Здесь без коней никак не прожить, мало здесь просто коней сторожить, крепко любить их надо. Будут копы тебя любить, будут горы с тобой дружить, сама земля будет рада! Не на зиму только одну, не на лето, не на весну — на целую жизнь идешь к табуну, табунщика сын ученый! Горны тропы навстречу бегут, резвые кони как будто ждут. Ждет вороной, и соловый ждет, старый Гнедко покорно идет, шеей кивая точеной.

...Жил арат верхом на коне. Так и жил — верхом на коне? Быть такого на свете не может. На кочевке, едва не в седле, родился, с первых лет, с детских лет с конем он сроднился, только в смерти одной от коня отделился — не одно ли и то же?

Жил арат и расстаться не мог с конем. И сегодня рассказывают о нем в Хоглуг-Сууре, веселой деревне, детям — старцы седые, древние. И гордятся им жители наших мест. И ему, за деревней, памятник есть.

Если вы поедете в Хоглуг-Суур или мимо Хоглуг-Суура, к границе, может быть, и за границу, в дружественную Монголию поедете, непременно взгляните на этот памятник.

Говорят, конные памятники раньше ставили завоевателям. В европейских столицах их сколько угодно — конных памятников, так у нас говорят, и можно ли не поверить, если теперь люди и из наших мест не в одной только Монголии, в различных, дружественных и не дружественных государствах бывают? Я собственными глазами два «конных» памятника видел — Медного всадника в Ленинграде и Юрия Долгорукого в Москве. Не завоевателям — строителям памятники. И еще помню, как видение юности, клодтовых коней на мосту белой ночью. Помню и не забуду никогда.

Не ищите взглядом, когда будете подъезжать к Хоглуг-Сууру, каменного всадника. Памятник здесь иной. Самодеятельный скульптор не сумел или не отважился изобразить человеческую фигуру. Конскую голову с развевающейся гривой вырезал он из камня, и ее установили на скальном выходе, на вершине небольшого холма, и закрепили в трещине скалы цементом.

Прежде на вершинах наших скал, холмов и гор люди воздвигали из камней жертвенные насыпи в виде небольшой

пирамиды — ова и перед ними молились, просили милости у хозяина тайги, просили дождей у владыки неба.

И другие, древние каменные памятники в виде вооруженных саблями и мечами, луками и стрелами людей сохранились в тувинских степях, гонцы к нам из далеких времен. И плоские столбики с надписями, многие из которых еще не прочитаны. И они были тоже окружены в старину религиозным поклонением и мистическим страхом.

Никто, конечно, не станет молиться возле памятника при въезде в Хоглуг-Суур, веселую нашу деревню. Но каждый, кто, проезжая, увидит эту белую голову коня с развевающейся гривой, поймет: здесь земля животноводов, земля, где привольно пастись отарам, стадам, табунам. И еще одно поймет: сколько бы машин ни пробегало по дорогам, сколько бы ни пролетало в высоте самолетов, в этих краях конь незаменим.

Найти бы мне золотой самородок с конскую голову величиной! — мечтал герой сказки. Не из золота голова коня с развевающейся гривой, но олицетворяет она то, что много дороже золота: труд людей олицетворяет и дружбу, ведь через каждые два года приезжают сюда дети Монголии и вместе с тувинскими детьми, школьниками Хоглуг-Суура, борются и состязаются в разных спортивных играх, поют и смеются здесь, возле белой каменной конской головы.

И в самой деревне принялись, окрепли, тянутся к солнцу молодые кедры и ели на улице Табунщика. И на других улицах появились молодые лиственницы, ивы, черемуха. Что ни улица — то и свое убранство.

Что еще есть в Хоглуг-Сууре? Школа есть. Клуб есть, точнее, не клуб — Дом культуры. Библиотека есть с ее милой хозяйкой Итпекмой, женой механика Одарбая. Есть механик — значит, и МТМ есть, трактора, комбайны, хоть и невелики посеы в животноводческом совхозе, разные сельскохозяйственные машины есть. И люди в Хоглуг-Сууре — самых разных профессий: механизаторы, врачи, учителя, доярки, чабаны, табунщики. Да, и табунщики. Не один уже — несколько. Тенекпей Арган-оолович Тумат, главный ветеринарный врач совхоза, кандидат наук, старшим над ними.

Свободные, гордые, сильные и смелые люди живут в Хоглуг-Сууре, веселой деревне.

Мы перечислили, кто в ней есть. Назовем теперь, кого нет в ней.

Тунеядцев нет — все заняты трудом, каждый своим. Пьяниц нет. Воров давным-давно нет, черной памяти Чыландай

был последним. И еще — малограмотных нет в деревне, самое наименьшее образование — восемь классов.

Рано утром поднимается учитель. Идет по деревне. Все, кто видит его, кто идет навстречу, здороваются с ним. Он смотрит на горы, видит остроконечные вершины, форма которых напоминает ему форму сердца. Видит дымки монгольских юрт по ту сторону границы. Видит всадника на коне на горной дороге. Куда спешит этот всадник? На праздник животноводов — наадым, где будут борьба и скачки, чтобы помериться силами с другими удалцами, показать быстрый бег своего коня? Или по неотложному делу так торопится? Или навстречу любви?

Он едет только сел в седло, но уже на душе светло. Он едва коснулся стремян, и летит в рассветный туман — на коне, как влитой, сидит, соловьиный поет сыгыт.

И смотрит вслед тому всаднику седой учитель Дембилдей. Смотрит и думает:

«Горы, горы! всю жизнь мою вы со мной, всегда вы вокруг меня. Вот я вышел впервые из юрты родной, вы пленили ребенка своей высотой, вы позвали, к вершинам маня. Свет ты мой, белоснежная Хаан-Тайга! Вечно сверкают твои снега. Ты царь, под тобой — огромный простор. Ты — как будто Хозяин гор! И к тебе, как к хозяину, люди шли, и дары, и даянья тебе несли, и молились тебе, чтобы шли дожди, чтобы сочные травы в долинах росли, воды рек наполняли их берега, чтобы щедрой была тайга. Лучшей пищей своей угощали тебя, к трудной жизни людей приобщали тебя. Ты смотрела, как мать седая, труд и беды их принимая. И щедроты твои умножались, травы росли, долины цвели, богатыри рождались!

Мы молений не шлем тебе, Хаан-Тайга, но, любуясь, глядим на твои снега. Нам помощник во всем — неустанный труд. И долины цветут, и травы растут, и рождаются наши богатыри — Хаан-Тайга, на них посмотри!

Как прекрасен, смотрите, в горах рассвет! Ничего прекраснее нет. Солнце всходит, и я на него гляжу, чистым духом польнной степи дышу, кукованье слышу из чащи над рекой, серебром блестящей. Как привольны, светлы родные места, где трава зеленеет, сочна и густа, где бегут, где вливаются в воды реки звонкие родники! Ты чиста, высота, ты прозрачно ясна. Над тобою — рассветная тишина, не глухая и не немая — тишина живая, птичьим пенем звенящая, радостный день сулящая! Жизнь идет, и в сердце печаль живет, невозвратного нам ничто не вернет. Но ведь жизнь

идет, и солнце встает. Да, прошедшее не возвращается, но опять новый день рождается, и всему наступает своя пора. Но бессмертна рассветных лучей игра, перелив заревой, живой. Скачет всадник на резвом коне к горам, к светлой гриве припав головой.



Вячеслав БУЗЫКАЕВ

## ДЕНЬ ПАМЯТИ

*(Из повести «Родительский день»)*

...День медленно клонился к вечеру. Многие уже стали покидать старое кладбище. Люди шли по его тропинкам ослабленной походкой, немного навеселе, с чувством исполненного долга. И облегченные от груза памяти, который вынуждены были носить в себе последние дни и который прибавлял им в горячее весеннее время немало обременительных хлопот.

На кладбище произошло организованное движение: все разом устремились к выходу на автомагистраль.

— Что за шум? И люди отчего-то бегут? — всполошилась старуха, ожидая ответ от Власова.

Тот недоуменно пожал плечами:

— Пойдем глянем, — и, прихрамывая, заспешил с соседкой к главному выходу.

Во всю ширину дороги мимо кладбища шла молодежь. Школьники, студенты, рабочие под барабанную дробь несли флаги, транспаранты, плакаты. «Миру — мир!» — пламенело над головной колонной. «Нет — войне!» — держал в клюве призыв огромный белый голубь, высоко вознесенный в небо на разноцветных шарах. Молодые медики несли в руках большие буквы, они складывались в слова: «Главная забота века — здоровье людей».

Уверенно шагала молодежь, и ее поступь завораживала людей. Многие пристраивались к колоннам, торжественно светлели их лица. «Миру — мир!» — повторяли они близкие и понятные слова. Такие же простые и дорогие, как «хлеб», «мама», «земля».

И никто не обращал внимания на старушку с ясными глазами, она широко крестила манифестантов:

— Христос с вами, детки! — грудным голосом напутствовала колонны.

Власов уже было намеревался приладить шаг к манифестантам, как будто споткнулся обо что-то невидимое. Широко открытыми глазами глядел на колонну, над которой полыхали, рвались ввысь наспех нарисованные на кумаче слова: «Мы с тобой, Ульяна Власова!» Он не верил им, но слова приближались, увеличивались в размерах, убеждали в своем существовании. Вот уже поровнялись с ним, проплыли мимо.

Рядом недоуменно спрашивали:

— А кто эта Власова? Космонавтка, что ли?..

Какой-то молодой человек с блокнотом в руках оборотил лицо к ветерану войны, нацелился авторучкой в грудь:

— Может, вы знаете Ульяну Власову?

Он утвердительно кивнул головой.

— И что о ней можете рассказать?

— Все, что вас интересует, — проскрипел в ответ пересохшим от волнения голосом Михаил Степанович.

— Мы с ней коллеги, но близко как-то не успели сойтись. К тому же я в другой газете работаю и почти ничего толком не знаю о ней. Слышал, она все с каким-то дедом носитя, как с младенцем. Вы не знаете, кто он?

— Знаю. Я и есть ее дед.

Молодой человек весело рассмеялся:

— Шутить изволите, отец. Но мне, ей-ей, не до шуток, — и поспешил смешаться с толпой.

Это еще больше озадачило Власова. Интересно, что такое натворила Улька, коли люди не хотят верить ее деду? «Ну, егоза! Погоди у меня!»

Власова бесцеремонно тронули за плечо. Такое мог позволить только один человек.

— Ты куда это запропастился, дружок? — не оборачивая головы, глядя вслед уходящим колоннам, спросил он, втайне радуясь, однако, близкой душе.

— Видал! Ну и Улька! Вот тебе и скромница! Всех взбудоражила! Только и разговоров в городе, что о ней! Во дела! Самого президента Америки за ушко да на солнышко! Ай да девка! — Мокеев беспрестанно восклицал, не пытаясь скрыть охватившего его волнения. — Прямо либо пан, либо пропал! Настоящее знамение времени. Все хотят мира и никто не хочет войны. А ведь древние не зря говорили: «Хочешь мира — готовься к войне». Не-ет, дудки, Марья Ивановна, голыми призывами мир не обеспечить. Действовать надо, действовать! К войне надо готовиться! Так-то, молодежь зеленая!

— Ты, никак, нарезался?— оборвал словоохотливого дружка Власов.

Тот прервал свою тираду, очумело глянул на него, сник как-то сразу, устало махнул рукой:

— С чего ты взял?— но снова оживился: — Завидки меня берут, что не я воспитал такую девку. Это ж только подумать! Ай-яй-яй!..

И не понять было: то ли восхищался, то ли осуждал за что.

— Ты хоть Расскажи толком, что случилось.

В этом месте старого кладбища, наиболее ухоженного, каждая могила была обнесена узорчатой, лаково окрашенной оградкой, скамеечки стояли за ней, так что присесть было некуда. И пожилым людям не оставалось ничего другого, как стоять лицом к лицу.

Один стоял с гордо поднятой головой и оттого казался выше ростом. Другой горбился, будто хотел стать незаметнее, но его манера говорить невольно привлекала внимание прохожих: уж больно много шума исходило от человека.

— Ну, Степаныч, поражаешь! Его внучка, можно сказать, геройский поступок совершила, а ему невдомек. Вам, Власовым, на роду написано быть на коне. И даже под конем окажется — не убавите гонору. Скрытые, сами себе на уме. Вот ты, Степаныч, давно уже безлошадным стал, одна сбруя и осталась — то бишь регалии твои военные.

— Их не трогай, они заслужены.

— Да кто спорит с тобой? Ясно дело, заслужены. Ну убил там с десяток фрицев, так что ты этим бессмертье себе обеспечил? Ты ведь даже не помнишь, как это было. А может, чужие ордена нацепил? Да ты не петушись... Сколь угодно таких случаев. Выпендрится вот такой вот пентюх, куда тебе с добром — герой и только! А на поверку оказывается, всего одна медаль и заслужена им — «За доблестный труд».

— Ее тоже не каждому давали. Вот ты что-то не надел ее сегодня. А ведь самый раз. Один подходящий день в году. День Победы. У многих сегодня ее видел. А у тебя она где? Или... не заслужил?

Лицо Мокеева враз побагровело, он даже заикаться начал:

— Т-ты, э-эт-то на что, да-да на ч-что наме-ме-кашь?

— А я не намекаю, прямо спрашиваю у тебя, заслужил медаль или нет?

— Медаль — не икона, век на нее не будешь молиться.

— Вон ты как — не икона! Значит, не заслужил, коли не дорога она тебе. Или малым потом оплатил ее.

— Ну, это еще неизвестно, за чьей спиной ты выехал в ту пору. Меня рядом не было. А побрякушки эти твои мне не указ. К тому же...

Власов не дал договорить дружку, правой рукой ухватил его за грудки, притянул вплотную так, что близко сошлись их глаза, совсем темные у одного от тихой ярости и белесые от злости у другого.

— Ну ты, крыса тыловая! Если еще хоть одно слово вякнешь насчет побрякушек, я из тебя душу вытряхну.

— А не слабо, герой? — усхмыльнулся Мокеев. Выпрямившись, он стал чуть ли не на голову выше Власова.

Минуту-другую, набычившись, стояли друг против друга, стерегли каждое движение. Не друзья — враги.

«А может, он и не тот вовсе, за кого выдает себя?» — запоздалая догадка мелькнула в голове. Власов даже опешил от нее, невольно опустил плечи, сторбился.

— То-то, герой кверху дырой! — совсем уж по-мальчишески поддел Мокеев, враз успокоившись. Самолюбие его было удовлетворено. По правде сказать, он малость струхнул, когда этот бугай сгреб его за грудки. Сколько помнит себя, Мишка всегда был наверху, на нем, Сашке, а не под ним. Его бесило, что не власовский выродок месил лопатками землю, а он, Сашка Мокеев. И так было всю жизнь. Всю жизнь Мишка был удачливее. Лишь раз сорвалась у него удача, но о том лучше не вспоминать... Не время.

Оба враз оглянулись по сторонам и, пристыженные, ползлись в глубь кладбища, отыскивали свободную скамеечку у обозначенной белым плитняком безымянной могилы, устало опустились на нее. Скамейка оказалась небольшой, пришлось потесниться. Сидели рядышком, плотно прижавшись друг к другу. Ни дать ни взять — старые друзья-фронтовики.

Мокеев замечал почтительные взгляды людей и невольно вылячивал грудь. Кому ведомо, что было на этой груди под светлым плащом? Мокеев грелся в лучах чужой славы.

Напротив, ничего вокруг не замечал другой. Он весь был поглощен мучительными раздумьями, порожденными нелепой догадкой. Мысль работала ясно, четко, как, наверное, бывало на фронте, в бою, когда на решение отводилось порой меньше мига. В руках обнаружил тополевую почку. Подивился ей, но тотчас припомнил: ранним утром оторвал ее от нижней веточки тополя, осторожно растер в пальцах, жадно вдохнул в себя горьковатый запах нарождающейся жизни и пошел,



тихо позванивая медалями, по тропинкам старого кладбища. Видимо, бессознательно положил в карман липучий комочек, и вот он снова оказался на ладони.

— Ты все про смерть да про смерть толкуешь, — обратился он к Мокееву. — Хотя сам боишься ее, по глазам вижу, что боишься. Мэмэнта мори, мэмэнта мори! Но если ты хорошо знаешь латынь, то должен помнить и другое изречение древних: «Мэмэнта вивэрэ». Да-да, помни о жизни! Так вот, фронтовики в бой шли, более чем уверен, с думой о жизни, но не о смерти. О смерти думали только трусы, и она нашла их...

Видишь на ладони вот эту зеленую пигалицу? Думаешь, откуда она? Ясно дело, от тополя. А где этот тополь растет? Не трудись, не догадаешься, потому как у тебя иной расклад в голове. Вот здесь и растет, на кладбище. Что из того, говоришь? Да то и есть, что в этом вот зеленом комочке новая жизнь нарождается. Понимаешь?.. Продолжается жизнь! Они уже давно отошли в мир иной, — кивнул Власов на памятники. — Но земля питается их соками, дает силу траве, дереву, и оно не чахнет, растет, тянется к солнцу, заново рождает жизнь на земле.

Ты давеча про зеленую молодежь толковал, мол, не с того боку они к миру подходят. Шалишь, брат! Именно с того! О войне пусть думают военные люди, это их профессия. Но и они трудятся с думой о мире, чтобы было кому обрубить щупальца, если потянутся к горлу народов. Вовремя обрубить, пока они не обхватили всю планету. И будь уверен, обрубят, не позволят никому лишать будущего детей наших.

Наслушался я твоей латыни, думал, человек по незнанию городит чепуху, хватался верхушек и выпендривается перед людьми: вот, мол, я какой ученый. Только ученость твоя, Александр, однобока и корыстна. Ты вот все твердишь, как попугай: «Пусть погибнет мир, но свершится правосудие». Чей мир, чье правосудие? Если мир корысти, зависти черной, то — да, пусть он погибнет! Если правосудие простых людей земли, людей доброй воли, то — да, пусть оно свершится!

Но ты-то клонишь совсем в другую сторону. Это же тобой сказано: «Человек человеку — волк». Как же ты дальше-то, Александр, намерен жить при такой... ненависти к людям? И хоть прячешься за маску добряка, но сам себя и выдаешь с головой. Не-ет, дорогуша, мне с тобой не по пути, ты за смерть, а я за жизнь голосую, разные у нас с тобой окопы.

Все время, пока Власов говорил, тот, другой, не проронил ни слова, судорожно сглатывая слюну, изумленно таращил глаза. Но при последних словах выпрямился на скамейке, засветился тихой радостью. Что-то незнакомое проступило в его лице (крылья носа побледнели, еще более оттенив их хищный вырез), он порылся в кармане плаща и протянул Власову бумажный сверток.

— Что это?

— А ты разверни, разверни. Почитай, поборник мира, узнаешь,— торжественно пообещал Мокеев.— Да не там листай, вот тут,— он нетерпеливо выхватил журнал из рук Власова, разом раскрыл его на нужной странице.— Вот где читай, лупоглазый!

— Ничего не понимаю,— потерянно произнес Власов, взглядом прося разъяснений.

— А тут и понимать нечего. Строишь из себя миротворца, а на деле в зарубежном журнальчике, вот в этом самом, призываешь к войне. Пусть, мол, все погибнут, останемся одни мы, святые, на земле! Да ты и сам только что к тому призывал: прохвосты, жулики пусть погибнут, а ты будешь правосудие вершить. А какие они жулики? Такие же простые люди, как ты, как я, как эти вот на кладбище. Только жить умеют лучше тебя. У тебя в квартире ничего, кроме телевизора, нет, вон даже машину не хочешь взять дармовую, положенную тебе как фронтовику. Утоп в мудрствованиях, а жизнь настоящую не видишь.

Памяти он, видишь ли, лишился. Да наплевать на нее, на память твою! На прошлое! Что в нем хорошего, в том прошлом? Картошка в мундирах с лебедою пополам да одни лотки — и в выходные, и в проходные. Радуйся, что начисто забыл о житухе той. Ведь если рассудить здраво, ты самый счастливый человек на свете. Тебе за шестьдесят, а ты будто заново родился, с нуля начинаешь жизнь. Да ты и два века проживешь теперь, тебя ведь никакое прошлое не тянет. Мне бы твое положение, уж я бы из него извлек выгоду.

Ну, это к делу не относится. Убедился, миротворец? Подпись-то твоя, вишь какое шикарное факсимиле, прямо как у министра! Моли бога, что я тут у одних увидел да отобрал журнальчик. Случай помог. А то сидеть бы тебе, голуба, за решеткой. Во-он видишь шпили на башенках, на берегу Енисея, знаешь, что там за учреждение? Они тебя мигом сграбастают за такое и окажешься ты в местах, как говорится, не столь отдаленных.

Власов сидел на лавочке, жалкий и потерянный, а над

ним возвышался краснорожий верзила, истоиво стучал себя в грудь:

— Ну да ты не бойсь! Мокеев друзей не продаст, скорее, сам костями ляжет. Мы еще с тобой покажем кое-кому кузькину мать. А, Степаныч? — по-свойски торкнул он Власова в плечо.

Михаил плохо слышал, что ему говорили. В ушах резко пощипывало, откуда-то изнутри зарождался, нарастал гул. толчками больно давило на перепонки. Было жарко, душно.

— Парит что-то,— беспомощно произнес, расстегнул воротник гимнастерки; подворотничок ее повлажнел и потерял первоначальную белизну.

Власов поднял голову, оглядел небо из края в край. Ничто не предвещало близких перемен, лишь у самой кромки неба, в той стороне, где поблескивала узкая лента асфальта дороги на юг, темнела небольшая тучка.

Последнее время Власов тяжело переносил непогоду. Тело ломало, в висках громко стучало.

Тучка-невеличка, между тем, понемногу разрасталась, ширилась, тянулась космами вверх, будто нащупывала ближнюю дорогу к солнцу. Нащупала и резво поползла по синему небосводу, зловеще наступая на светило. Вот туча свернулась в черный тугой комок, оперлась о землю темными столбами пыли, поднятой с кок-тейских увалов, и разом поглотила солнце.

Стало темно. Подул ветерок — предвестник бури. Зашуршали в оградках бумажные цветы, жестяно зацвенькали друг о друга металлические венки. Люди спешно засобирались, чуть ли не бегом покидали кладбище.

Туча заняла уже полнеба, тяжело напозала на город. Порывы ветра стали лизать высохшую землю, закручивая легкий мусор столбом, поднимали его высоко над землей. Но буря не спешила. Она медленно поплыла на северо-запад, захватывая как можно больше пространства, чтобы было на чем разогнаться для верного удара по городу. Вот ее голова сомкнулась с хвостом — черный полог встал над городом, и лишь в самой макушке, как в чабанской юрте, зиял кружок синего неба. Он еще больше подчеркивал черноту надвигающейся бури.

И вот, будто по чьему-то приказу, она ринулась на человеческое поселение сразу со всех сторон, засыпала его песком, забросала галькой и мелким булыжником. Казалось, все

темные силы природы объединились в этот час против человека.

Люди задыхались, песок забивал им глаза, нос, рот, уши, сыпал за ворот, хрустел на зубах. Со скрежетом опрокинулась одна железная оградка, другая, как спички, ломались штакетины. Над головой Власова со свистом пронеслась вырваная из земли чудовищной силой деревянная тумбочка с болтающимся на ней венком.

Порывы ветра налетали со всех сторон, грозя самим людям поднять в воздух и унести за тридевять земель. Двое чуть ли не ползком, ощупью угадывая верное направление, медленно пробирались в сторону сторожки, единственного места, где можно было спастись от этого ада.

Мокеев молот какую-то чепуху, ветер относил слова, прежде чем они успевали сорваться с его губ. Один раз Власов явственно расслышал сквозь вой бури: «Грядет Армагеддон!»

...Мокееву и впрямь стало казаться, что вот она пришла, наконец, долгожданная кара небес. Воссияют сейчас ослепительные молнии, раздадутся удары грома, расколется твердь небесная, и на землю спустится бог Иегова. Приложит к губам иерихонскую трубу и призовет к себе всех свидетелей под знамсна Армагеддона. Восстанут живые, поднимутся павшие единоверцы, и грядет священная война, последняя война во имя окончания всех войн. И тогда погибнут в ней инакомыслящие, и наступит на земле долгожданное царство божие.

— Пришли, кажись! — прокричал ему в ухо Власов, и тот очнулся от грез.

Дверь сторожки едва поддавалась. Не успели оба протолкнуться в помещение, как дверь оглушительно громко хлопнулась за ними. Будто снаряд разорвался за спиной.

...В сторожке было светло. Высоко подвешенная к потолку «летучая мышь» равномерно освещала ее нехитрое убранство. Хозяин, седой и трезвый старичок, молча указал вошедшим на скамейку у стены.

Власов расслабленно прислонился спиной к шершавой бревенчатой стене. От нее исходил легкий гул, порой избушка испуганно вздрагивала, и это неприятно отдавалось в ослабленном теле. Но он не шевелился, продолжал сидеть в какой-то мучительно-сладостной истоме. Он устал. Устал от событий дня. Буря своим шершавым кошачьим языком вылизала у него в груди последние остатки сил. И сейчас он был в каком-то странном полузабытьи — ни мертвый, ни живой.

Время от времени дверь сторожки оглушительно хлопа-

ла, впуская людей. Одному из мужчин сделалось плохо, и хозяин сторожки по телефону, который чудом работал, вызвал «скорую».

Две женщины в дальнем углу вели тихий разговор о буре, каковой давно не бывало в городе, строили предположения, что она наверняка все поковеркала на старом кладбище, разнесла в пух и прах созданную людскими руками красоту.

— Здесь завсегда так, — встрял в их разговор старичок. — До обеда в родителей день солнце ясное, а после полудня обязательно буря. Будто с цепи сорвется, треклятая!..

Их разговор тек мимо ушей, почти не задевая сознания. И только в одном месте Власов согласился с женщинами: да, пожалуй, так... не иначе буря порушила все в этом городе прошлого, каковым являлось старое кладбище. Ему стало немного лучше, он шевельнулся, устраиваясь поудобнее. Вытер мокрое от дождя лицо. Хотелось лечь прямо на пол, соблазн был настолько велик, что он даже застонал, превозмогая его.

Рядом тяжело дышал Мокеев. По всему было видно, буря изрядно потрепала и его тоже. Но не столько физически, сколько душевно. Он прямо убит был несбывшимися надеждами.

Тогда, на кладбище, как чуда ждал грома-молнии. И молния воссияла, и гром раздался над головой, но вместо бога на землю спустился обыкновенный дождичек. Ливень! Да что с того? Он-то ждал бога Иегову и желанный земной рай.

...В сорок пятом, уже после войны, разыскали Мокеева, воздали ему должное за краденое колхозное зерно. Кабы не кончилась война — «вышки» не миновать. А так дали 15 лет, спровадили на Колыму — в лагеря «Ромео и Джульетты». Два лагеря рядом стояли — мужской и женский. Два раза в год стража растворяла их ворота, выпускала заключенных на большое поле. Кого сгреб — та и твоя: всего один час на любовные утехы...

После амнистии, в пятьдесят шестом, подался на «материк», устроился в одну из райповских заготконтор под Красноярском, сблизился с единоверцами, которые определенно называли сроки священной войны. Он деятельно готовился к ней. Но пришел названный срок, наступил второй, третий... Годы летели, а земной рай все не приходил. Вот уже и старость незаметно пододвинулась вплотную.

Мокеев тяжело вздохнул, вновь и вновь переживая несостоявшийся счастливый миг. В голове тяжело ворохнулось: «А может, вранье одно? — Но он не дал ходу этой мысли, за-

гасил ее, крепко сжав кулаки.— Ну уж дудки, Марья Ивановна! Так просто он не сдастся! Вон и еще одного привел в стан господень, не зря сегодня по его наказу единоверцы не спуускали с Власова глаз».

Подавленное настроение улетучилось, едва вспомнил о Михайле. Впервые за много лет он упивался победой над поверженным врагом. Не он, а Мишаня Власов был сейчас под ним, елозил лопатками по назъму: сдаюсь!

«То-то, сдаюсь! Ты еще не так у меня запоешь, варнак пучеглазый,— запоздало радовался Мокеев.— Ты у меня заплясешь, на коленях ползать будешь передо мной, все свои мирские проповеди враз забудешь. О жизни ему, видишь ли, думать! Не-ет, шалишь, браток! «Мэмэнта мори»,— вот она, истина на этой грешной земле. Остальное все суета сует».

Буря потихоньку сдавала, и вскоре за стенами сторожки стихло. Дверь без стука легко впустила людей в белых халатах.

— Кому плохо?

Собравшиеся указали на того мужчину. Ему измерили давление, сделали инъекцию, унесли на носилках.

Через полчаса они вышли из сторожки и ахнули. Казалось, буря все свое зло выместила на кладбище: оградки покорежило, старые тумбочки валялись тут и там, не осталось ни единого венка, которыми были обильно уснащены памятники; побеленный плитняк и тот сорвало с безымянных могил и унесло невесть куда, их бугорки почти сровняло с землей.

Гранитная глыба на могиле побратима стояла, как и прежде. твердо и непоколебимо, но надпись на ней отшлифовало так, что цифры и буквы едва проступали в камне.

— Оставь меня,— устало произнес Власов, но Мокеев и ухом не повел. Теперь его черед командовать. Он уже поднял указательный палец вверх, чтобы прочесть проповедь заблудшему, но не успел, замер, покрылся весь мертвенной бледностью — на лице четко обозначилась синеватая сетка склеротических сосудов. Совсем потерял дар речи Мокеев.

Прямо в упор на него глядела горбунья.

— Объявился, ненаглядной! Ну, здравствуй, Лександра Фокеич, внучек любезный! Рада-радешенька тя видеть! Чо это замолчал, аль не признал стару? Да не трясись тряской, не с того свету явилась... Вишь, цела, живехонька... А ты, видать, давно ужо схоронил меня, в сыру землю закопал? Небось, думал, черви меня ужо изъели? А я вот она, вся

тутака пред тобой — живу и солнышку радуюсь. И тебе, вишь, тоже рада.

Да ить как не радоваться? Почитай, сорок лет мы с тобой не виделись. Немалый срок. Зажилась, ох, зажилась, Лександра Фокеич!.. А ты чо энто... никак, над Мишаней строжишься? — ласково так спросила она Мокеева. Тот будто в рот воды набрал: и шейей поворотить не смеет, и пальцем не шевельнет. — А мне и невдомек, о каком энто Мокееве давеча Михайло сказывал. Мало ли их, Мокеевых, на белом свете. Всяких полно. Есть и хорошие промеж них, знаю тутака одних; славные, ничо не скажешь, к людям ликом повернуты, не задом. Не в пример тебе, варнак вислогубый, — пристукнула клюкой бабка Катерина. — Вон, оказываца, о каком Мокееве речь шла! Другом стал! И давно энто вы сдружились? Слышко, Михайла, давно, спрашиваю, энто варнак под-ле тя крутится? Скоро год, говоришь? Как ты памяти лишился, так и другом тебе стал. А ведомо тебе, каку таку змею пригрел на груди? Не ведомо. Дак я тебе обскажу. Все, как есть, обскажу. Тока я одна и могу поведать...

— Не слушай ее, ведьму старую! — опомнился, наконец, Мокеев. — Она же разумом свихнулась сто лет назад. Кышь отсюда, курва горбатая!

— Ну-ну, полегше. Полегше, говорю. Сядь-ка, посиди рядышком, охолонь чуток, — силой усадил дружка Власов. — А ты, ненька, рассказывай.

— Вишь, как его распирает-от! На прозвища мастак, энтого от тя не отымешь, Фокеич? Пугашь? Да тока не на ту напал, не из пужливых. Отпусти его, сынок, не пачкайся. Ты кого обнимал-от? Ворога свово кровного! Ить энто он твою любушку сгубил, надсмеялся над нею, Аленкой твоей. А какие он те козни чинил! Будь его воля — сожрал тя с потрохами и не подавился бы, ирод треклятый! Чо зенки пучишь? Хошь раз наберись силво выслушат правду-матку о себе. Небось, хвастался тутака, как колхоз в войну подымал? Подымал! На бабьих спинушках. Поизмывался над ними. У-у, кулацкое отродье! — замахнулась клюкой старая.

Мокеев кубарем слетел со скамеечки, ненавидяще прошипел:

— Вот этими самыми руками придушил бы тебя!

— Не сумлеваюсь, внучек, придушил ба. Дак малость одна мешат, свидетелей-от больно много. А может, мне позвать их, пусть послушают. Про то, как хлеб колхозный крал. Как избу мою поджег, штобы я ненароком кому следоват не

обсказала про твои подвиги. Да промашку дал малую: я по нужде на задах как раз была о ту пору. Тебе о том невдомек, вот и сбежал из села, в Союз ажник подался. Видали ты люди, сказывали, игде остановку сделал. Да тока не до тя о ту пору заботой жили, фронт кормить надоть было, а не щёты сводить. Таперича времечко приспичило, воздам тебе должное, а там и на покой.

— Один свидетель — не свидетель, — вспомнил о спасительной латыни Мокеев. К нему вернулась прежняя уверенность. — Старые рассказы, бабка Катерина, только тебя будет слушать? Бред сумасшедшей старухи — и только. Неужто, Мишаня, ты поверил этой древней карге? Ошибка памяти. Да-да, бабуля, что-то с памятью твоей стало. Призываю в свидетели бога и людей!

— Не надо, не зови... Вспомнил, как ты отзывался о моей подписи, мол, впору министрам такую. Эти же самые слова ты и сегодня сказал, когда журнал подсунул. А про «мэмэнтэ мори»? Это же твоя философия — не моя. А в бурю кто орал «Грядет Армагеддон», а? Уж не боженька ли? Вон кому служишь теперь. В иеговисты записался. Душу спасешь и мою спасать пришел. А вот этого не нюхал, — Власов поднес набухший от долго сдерживаемого гнева кулак к его носу и не вытерпел, коротким замахом влепил в красную рожу. Всю силу вложил в этот удар, и Мокеев, что бык, грузно упал на колени. Оперся на четвереньки, медленно выпрямился, сплюнул крошево зубов наземь, просипел:

— Ну этого я тебе не прош-шу, Мишаня.

— Прочь, иуда!

— Вон ты как жаговорил! Да я ж тебя... Да ты у меня... Да я тебе... — не мог найти слов Мокеев. Наконец, отыскал: — А штатейка в заш-шиту иеговиштов кем подписана? То-то!

— Опять про энтих иеговнистов слышу. Погодь, Фокеич, погодь, свет мой батюшка. А не твои ли давеча помочнички были в доме Власовых? Чо белешь ликом-от! Твои, знамо дело, твои. А то чьи жа ишо могут быть? Люди свет тебе в окошке застили, вот и надрывашься таперича, армию Дадона кличешь. Изыди с моих глаз, сатана! — принялась крестить его горбунья.

И Мокеев неожиданно попятился от нее, побежал. Издали уже погрозил кулаком в их сторону, простонал зверем:

— У-у, ненавижу-у-у! Вшех ваш ненавижу! Грядет Армагеддон! Грядет!..

Он еще что-то выкрикивал, но его никто не слушал. Про-



хожие пугливо жались к оградкам, обходя стороной верзилу с дикими глазами — вконец, видно, упился.

Власов горестно вздохнул, положил измученную голову на колени старой женщины.

— Ненька, ненька, — шептал одно лишь слово.

— Сынок, — бережно гладила она черную голову с широкой седой прядью. — Доверчивый мой...

...Власов не помнил, сколько он просидел здесь.

«Ненька, ненька...»

«Сынок мой...»

Катерине казалось, что вот он, вернулся, наконец, к ней, ее сын, и, как в далеком детстве, лежит у нее на коленях, а она тихонько перебирает его вихры пальцами, легонько царапает макушку, наощупь разнимает волосы вдоль пробора — и время остановилось для нее, занятой своим дитятком.

Время давно остановилось для нее. С тех пор, как отыскала в далекой «Белой России» могилку солдата своего, Катерина жила лишь несчастными событиями в ее неприметном существовании — от одного к другому.

Вот пионеры школы имени ее сына повязывают на впадой груди красный галстук, а она крестит их черной щепотью: «Христос с вами, ребятишечки!»

Вот пришли к ней злыдни и силком тянут в «армию Дадонана». А она по их спинушкам клюкой: «Изыди, сатана!»

Новая встреча с малой родиной. Зачерпнула в пригоршню енисейской воды, испила: «Славная водица, вкусна. Ну, здравствуй, Енисей-батюшка! Здравствуй, Тува-матушка!»

Человек, до солнца пришедший на старое кладбище, знакомый уж больно. Проверила себя потом — так и есть: Власовых сынок, ее молочный сынок!

С того часа время необычайно уплотнилось, закрутило старую в водовороте родительского дня: Улька, внучка Михайлы, грозно встретившая ее у порога; молодые люди в строгих колоннах под красными флагами; неговнисты и вот — Мокеев, всей Таловки и Власова первейший враг...

У нее бесполезно было спрашивать, сколько времени они просидели на этой маленькой скамейке. Она жила сейчас болью сына и потихоньку отбирала у него эту боль, принимала ее в себя. Чувяла, сыну оттого становилось легче. И уж потом тихо повела рассказ о Таловке, о его, Михайлы, прошлом. Вырастал из ее рассказа тот, кого он, Власов, еще час назад называл другом.

...Давно это было. Партизаны только-только останки белогвардейцев развеяли. Повешали на стены берданы, приздумались: что дальше-то? За коммунию воевали, врагов ее изничтожили, значит, пора ставить коммунию. Свезли таловские бедняки на общий двор весь скарб, живность, какую ни на есть, и объединились в товарищество по совместной обработке земли — ТОЗ. В стороне остались крепкие хозяева — Вавиловы, Шепелины, Мокеевы, Верещагины, Морозовы, Галовы: не с руки, мол, нам в коммунию вступать, голытьбу кормить, сами едва концы с концами сводим.

Так и повелось. Власть новую устанавливали вместе, а в мирной жизни разошлись по разным стежкам. Пополам развалилась деревня, будто кто шашкой рубанул по ней в том самом месте, где стоял мост через быстрю Таловку. Верхняя Таловка жила своей, выверенной многими веками крепкой жизнью, все больше и больше обрстая хозяйством. Нижняя Таловка, напротив, вела какую-то бесшабашную, бесполовую жизнь, далеко вперед не заглядывая: сегодня хорошо — и ладно. И все больше скудела добром.

И только ребятня не успела еще разделиться на два лагеря. В ночное ходили вместе, гурьбой подымались в Широкий лог по грибы и ягоды, смолили животы, лазая на кедр за едреной шишкой. Мишка власовский дружил с Сашкой Мокеевым, белокрысым непоседой, готовым каждую минуту на новые затеи. Были они одна отчаяннее другой и почти всегда заканчивались порками, так что оба мальчугана день-два вовсе не показывались на улицу. А встретившись вновь, наперебой хвастались, как они при порке широкими отцовскими ремнями даже звука не проронили, не то что слезу.

...Новая жизнь налаживалась в деревне приливами-отливами. Распалась коммуна, впервые заронив в души бедняков сомнения насчет светлой и радостной жизни. Но и к прошлому дорога была заказана. Верхнеталовские посмеивались: «Ну как, досыта наелись в своей коммунии? Што мы говорили? То и говорили, што объедини хошь сколь шишей в кучу — шиш и получишь. Только тот шиш побольше, сразу на все семейства. Нет, мужики, как наши деды жили на земле, так и нам следоват. Каждый своему щастью хозяин».

Они и к новой затее — насчет колхоза — отнеслись так же: мы-де уж как-нибудь помаленьку, потихоньку своим хозяйством управимся.

Власовы — отец с сыновьями — первыми вступили в колхоз, голосовали за его имя — «Партизанский край». Были и другие варианты: «Красная беднота», «Большевик», «Парти-

занский». С задних рядов, где сидели кулаки, донеслось в президиум собрания: «Красный лодырь». Их попросили освободить помещение.

Окончательно деревня раскололась надвое при дележе земли. Лучшие покосы и пашня отошли к колхозу. Председатель Пирогов Иван был тверд и на кулацкие посулы «свинца в башку» не обращал внимания. Верхняя Таловка мстительно затаилась. По осени сразу два события всколыхнули село: сгорел колхозный амбар с зерном нового урожая, в ту же ночь стреляли в председателя и крепко ранили. Колхозные дела перешли к его заместителю, Степану Власову. Этот с кулаками обошелся круто, подчистую подмел в их сусеках, восполнил добрую половину сгоревшей пшеницы. Хлеб — всему доброму начало, а отбери его, и вместе с ним уйдет из людей вся доброта. Верхнеталовские пацаны объединились, взяли в осаду единственный мост через речку, и теперь пройти по нему небитым редко кому удавалось из нижнеталовских пацанов.

Сашку Мокеева и меньшого из власовских драки до поры до времени обходили стороной. А началось все с того памятного дня, когда их обоих приняли в пионеры. Близились октябрьские праздники, и алый цвет ярко запылал на груди третьеклашек — впервые в Таловке. На следующее утро Сашка пришел в школу без галстука и с большим синяком под глазом. На вопрос учительницы ответил коротко: «Утерял». На сборе отряда ему припомнили все, самые острые языки называли подкулачником. Мишка Власов молчаливо переживал за дружка, руку поднял последним — за исключение Мокеева из пионеров. Сашка все время стыдливо прятал лицо, а когда увидел лес рук, горько заплакал. Разве мог он сказать, что за галстук тот был сильно бит. Как бык на красное, набросился тятка на лоскут алой материи, злобно сорвал его с мальчишеской груди, изорвал на мелкие клочки, удушливо приговаривая: «Я те покажу пионеры... Я тебе покажу пионеры...»

«И ты против?» — немой вопрос стоял в глазах Сашки, когда он увидел лес рук, а среди них — знакомую, Мишкину.

И в первую же встречу на мосту Власов был жестоко бит верхнеталовскими. Особенно усердствовал Сашка Мокеев. С той поры и повелось. То мокеевская ватага бьет власовских, то, наоборот, верх одерживает голытьба. Мост переходил из рук в руки по несколько раз на неделе. Имел он прямо-таки стратегическое значение: от него в разные стороны расходились стезжки-дорожки до покосов, ягодных и грибных мест.

Чей мост — у того и полные лукошки клубники, смородины, черемухи, белянок, груздей...

Так продолжалось до тех пор, пока в быстрой Таловке не утонула двоюродная сестренка Михаила, вздумавшая перейти речку вброд, в обход злополучного места. Взрослые установили дежурство на мосту, и столкновения мальчишек прекратились, временами, однако, яростно вспыхивая то в одном, то в другом месте.

Мишка гибель сестры не мог простить вчерашнему дружку. В каждой новой драке яростно наседали на него. До того поднатюрел, что стал неизменно брать верх над Мокеевым — тому ничего другого не оставалось, как позорно бежать. Драки заглохли.

Началась между ними другая драка, невидимая миру. И удары наносил теперь один. Готовил их исподтишка, в полной уверенности в собственной безнаказанности.

Один после семилетки пошел на курсы трактористов, окончив их, подал заявление в колхоз. И хоть мал был еще колхозник годами, но уж больно проворен да сметлив в работе.

Второй, кое-как окончив седьмой класс, весь ушел в отцовское хозяйство. Вскоре Мокеевых раскулачили и вместе с другими «захребетниками» отправили в Красноярский край, на лесозаготовки.

Сашка объявился в Таловке ранней весной тридцать восьмого. Сказывал, что от родителей отрекся, и ему разрешили вернуться в родные места. В колхоз приняли с оговоркой: ты-де, Александра, того, прежние замашки забудь.

Мокеев работал за двоих. Еще на лесозаготовках освоил дело тракториста. Его имя стали называть в районе в числе ударников. По итогам года он обошел даже Власова Михаила. И на деревенских гулянках заметно выделялся среди других: хоть на гармони сыграть, хоть в пляс пуститься — умел чертяка таловским девкам сердце заморочить. Многие вздыхали, сохли по Сашке-гармонисту, но он выбрал ту, которая не обращала на него внимания. Выбрал, а по осени чуть ли не силком увел из-под носа соперника. Это был его, Мокеева, первый удар, от которого едва устоял на ногах Михаил. И хотя Александр не любил Алену, но старался почаще бывать вместе с нею на людях. А если еще и на виду у Михаила доводилось пройти с нею, то душа Мокеева прямо-таки пела от счастья: «Вот тебе, выродок власовский!»

После таких встреч вовсе невольно становилось Михаилу. Уходил спать на сеновал и долгими бессонными ночами

вопросал пустое, холодеющее небо: «Как же ты так, Алена?..»

Женился, сильно не разбирая, на ком.

Василиса ласками не докучала, по-женски чутко понимала: пусть отойдет душой, обогреется — авось, слюбится. Была она старше на год, с дитем ее взял Михаил. Пожалел бабенку. И та, как умела, оплачивала кудее свое счастье. Была Василиса белолица, сильна телом, умела всякую работу, не чуралась и мужской. Но Михаил сразу постановил: тебе твои дела — бабы, а мои оставь при мне. Так и жили: телом вместе — душой врозь.

Колхоз окреп, много строился. Той предвоенной зимой на дальнюю лесосеку, богатую спелой, могучей лиственницей, подобрали самых расторопных. В пару к Власову напросился валить лес Мокеев. Никто не мог угнаться за ними. А по весне едва не случилась беда. Власова накрыла сваленная лиственница, толстыми сучьями она вонзилась в мерзлую землю, не задев лесоруба, и это спасло его. Мокеев, однако, не торопился помочь напарнику выбраться из-под лесины: удостоверившись, что тот лежит под нею и наверняка насквозь пропорот суком, побежал звать людей. Люди прибежали, отвалили лиственницу в сторону, а со снега встал Власов, живой и невредимый. Заикаться-то надо ему, а несчастье это случилось с Мокеевым:

— Т-ты, пагляди-ди-ди-ка, жи-жи-живой!

— Живой, Сашка, живой! — да хлесть тому по скуле: напарник и с копылков, в снег с головой зарылся. — В другой раз подумашь, в каку сторону лесину валить.

Мокеев озлился. Зло сносил на Алене. «Все еще любишь его, стерва!» — И бил жену расчетливо и долго. Алена побоев не снесла, вскоре после родов кинулась с моста в бушующую Таловку. Тело ее вынесло к дальним покосам, где ставили стога Власовы. «Ишь ты, — не преминули заметить старухи, — видать, сильно любила Мишку. Мертвая, и то к его стану прибилась».

Этого удара Власов, пожалуй, не снес бы, но на другой день началась война.

Мокеев в то воскресенье плотничал, нечаянно рубанул топором по руке — двух пальцев как не бывало. На фронт его не взяли. На проводах не сдержался, ляпнул в темные глаза заклятого ворога своего: «Небось, последний раз видимся. Ненавижу тебя, Михаил. Будь моя воля, собственными руками придушил бы, как котенка. Ну, да чего там, немчура и без меня продырявит тебе башку. Прощевай, выродок вла-

совский. А мне и тут, в деревне, хорошо», — и гордо потряс перед лицом Михаила своей культурой.

Одни были, без свидетелей, скажи кому — не поверят, из-за Аленки, мол, на человека наплел. Сдержался Михаил, даже за грудки не взял паршивца, пообещал сурово:

— Вернусь — ращитаемся.

Долог был путь к возвращению, ох как долог! Утряслось многое в солдатском вещмешке, а пуще — в голове. То, что вчера застило собою чуть ли не полнеба, в окопе оказалось мелочью: печали и радости мирной жизни отошли перед бытом войны на второй план. Позабылся, поистерся в памяти образ Аленки, а вместе с нею и тот, кто был ей мужем. Уже плохо верилось в мокеевскую ненависть, так себе, думалось Власову, нализался на проводах, да и понес чушь несусветную. К тому же, понять его можно: Алена любила не муженька своего законного...

А Мокееву без Михаила тошно стало в родной деревне. Жизнь потеряла смысл. Не с кем стало соперничать, некому строить пакости — исчез друг-враг его, дерется где-то с немчурой проклятой; вместе это делать сподручнее было бы, да сам не захотел, другое в голове роилось; думал хоть этим досадить Мишке: вот, мол, тебе идти голову класть, а мне поминки по тебе справлять. Но злорадствовать не довелось. Жалеючи, как на ущербного, глянул на него Власов в день проводов на фронт, и эта его жалость пуще прежнего раззадорила Мокеева, подняла в нем такую волну ненависти, что чуток сам не захлебнулся в ней. Едва и продохнул после, уже ничего не соображая и не помня, какие слова боронил тогда земляку.

Обмяк, раскис Мокеев. Сунулся, было, в посольство, но его там на смех подняли. Выходит, не Мишке, а себе напакостил. На всю свою остатнюю жизнь напакостил. Калека! Слово это плохо вязалось с его раскормленным, пышущим здоровьем телом. Впрочем, Мокеев недолго горевал, скоро понял выгоду своего положения: а кто ж он — калека и есть, значит, и спрос с него соответственный. Мужиков в селе не осталось, не считая старика Власова. Он продолжал председательствовать, а в заместители взял Мокеева. Ох и поизмывался над бабами Александра Фокеич! Вот уж где раскрыл таланты свои. Бабы чуть не ревмя ревели от тирана, но и пожаловаться на него было некому: если строго судить, Мокеев требовал не для себя. «Помогать надо фронту, чтобы у него пуп от натуги не развязался», — частенько поговаривал он в ту пору.

Впрочем, не забывал и о собственном пупе. Жил в удовольствие. О крапивных щах лишь наслышан был, а самому не довелось испробовать. Поговаривали, что он хлебом колхозным приторговывает. Споит сторожа у себя на дому, а сам — к закромам. Непойманный — не вор, и разговоры стихли.

Бабенок, которые поприсяжнее, Мокеев держал на особом счету. А кто ему отказывал, нагружал самой трудной работой. Давно покоя не давала Василиса. Подкараулил раз момент, да не тут-то было: влепила ему такую затрецину, что едва на ногах устоял. «И не ходи за мной, изверг! Мне Михаил люб, а ты, красномордый, противен».

Не следовало ей говорить этих слов. Послал ее Мокеев на пахоту под новые посевы — такая работа и мужику не под силу. Старенький ЧТЗ заводили вручную. Два-три круга обойдет на нем Василиса — стоп, машина! Лезет под трактор, на сырую землю, перетяжку подшипникам делать. После нее рукояткой вал не провернуть. Цепляет к рукоятке веревку и вдвоем с прицепщицей дергает за нее, крутит в пол-оборота, пока мотор не заведется.

Намучается, от усталости с ног валится. А Мокеев ухмыляется: «Ну ты и наворотила сегодня, Василиса! С такой помощью у Михаила наверняка пупок не сдюжит».

Многие побаивались Мокеева — ему слова против не скажи. А скажи, так назавтра окажешься на пахоте, или на лесосеке. Хохотушки рады были его вниманию, посмеивались, бесстыжие, когда старые солдатики выговаривали им: «Вон гляди-ка, производитель ваш идет...»

Раз как-то разоткровенничался Мокеев с одной такой: я-де всех девок помечу, чтобы другим не досталось, кто вернется с фронта. Девка поведала товаркам. Те возмутились: «Наши мужики кровь проливают, а этот бугай! Подвесить его за я..., шtbody чтобы нечем было метить».

И ведь исполнили бы свою угрозу, кабы не председатель. Уже Мокеева из бани выволокли (укараулили момент!) в чем мать родила и березу на задах нашли подходящую. Руки у Александра Фокеича повязаны, кляп во рту торчит, сообщает что к чему, а поделывать ничего не может, лишь мычит глухо. Ехал мимо председатель, учуял неладное, через плетень жеребца направил (сильный был Воронок!), прямо по капустным грядкам скачет — аж кочаны белые лопаются с треском.

— Вы чо это удумали, бабы! А ну, разъязви ваш корень! Кру-у-угом!

Бабы врассыпную: еще подавит чертякой своим.

Потом, одумавшись, благодарили спасителя.

«То-то, «спаситель»! — беззлобно ворчал Степан Еремеевич.

Мокеев жаловаться в райцентр не поехал. Притих, стал ниже ростом, а незадолго до конца войны совсем исчез из села. (В ту ночь дотла сгорела изба бабки Катерины, вторая в ее таловской жизни).

Долго не давал о себе знать. И вот уже стариком объявился в Таловке, до неузнаваемости изменившейся, а его никто и не помнит в селе. Слышали-де о таком, вроде, был такой — вот и весь сказ. Народ плохих людей в памяти не держит, зато о хороших помнит долго и благодарно. И вновь старая ненависть ворохнулась в душе Мокеева, когда услышал про Власова: «Вот уж чисто орел, хоть и через два годка после войны, но героем вернулся домой. Полный кавалер орденов Славы. Жалко, старик с Василисой не дождались...»

Навел про него справки, тайком вызнал, где проживает, и скараулил момент, изобразил из себя старого дружка. Знал уже (побывал у врачей), что после операции плох стал памятью Власов. Но такого земляка не ожидал встретить, даже больно сделалось, что Михаил не признал в нем, Мокееве, своего заклятого врага. Эх, Власов, Власов!..

Знать, и впрямь старость пожаловала, коли один из них напрочь забыл все, что с ним было. Эта самая старость и не дает покоя Мокееву. Долгие годы работал сначала счетоводом, потом бухгалтером в одной из райповских заготконтор под Красноярском. Под старость вспомнил о Таловке. Отыскал в ней древнего старца, тот признал в нем Лександру Фокеича, подписал справку, а в сельсовете заверили, не спрашивая долго. Для стажа надо, что тут непонятного, многие бывшие колхозники о том хлопочут, приводя в порядок пенсионные дела.

Но Мокееву справка эта нужна не для стажа. Стажа хватает. Ему нужно собственную биографию выправить: что-де он, Александр Фокеевич Мокеев, работал в колхозе «Партизанский край» с 1935 по 1945 год. Всего три года и приписал, экую малость!

Но зато теперь он мог прийти в школу к пионерам и гордо сказать: «Мы в ваши годы наравне со взрослыми пахали, хлеб растили. А потом уж доучивались, кто как. Я, к примеру, бухгалтером стал. Почитай, три десятка лет не рас-



ставался с «дебетом-кредетом». Многие из вас наверняка считают это делом скучным, несерьезным, так себе, шалей-валяй, на пальцах — айн, на счетах — цвайн. Ошибаетесь. Серьезная это наука, скажу я вам, ребята, дюже серьезная и интересная. Бухгалтерия, она — основа государственности», — важно поднимет указательный палец Мокеев, приосанится, посолиднееет, входя в привычную роль государственного мужа, и если ему в такой момент чего и не хватает, так это объемистого, из желтой кожи, портфеля.

«Да, ребяташки, мы в ваши годы пахали...»

Пахали. Кто в колхозе, а кто на кулацких высылках. Собственную память не занавесишь справками. Это не осколок от немецкого снаряда, который год назад извлекли из головы Власова. В гроб будет ложиться Мокеев, а вспомнит про свои напрасные хлопоты, проклянет тот день и час, когда вновь встретил друга-врага своего. Тот хотя и не помнил прошлого (неплохо оно у него сложилось, что уж там!), но зато помнили люди, и не сам Власов, а люди скажут про него: «Вот, ребята, с кого жизнь свою делать».

И озлился Мокеев вконец. При встречах в дружбе клялся, а за спиной Власова пакость творил. Решил он втянуть его в дело, которым сам уже многие годы жил. Выведаль доверчивого «друга» подробности и за его подписью накалал открытое письмо землякам в заграничный журнал едиповерцев.

Казалось, на прочный крючок насадил недруга, быть ему теперь в одной с ним, Мокеевым, упряжи, не поврозь, а сообщая заблудших людей к свету выводить. Вот тогда и придут к ним дружба и согласие, а прежняя вражда испарится.

Долго лелеял эту мечту. Почти свершилось задуманное. как, откуда ни возьмись, появилась эта старая ведьма. Перепугался Мокеев, чуть в штаны не наплавил. Он же сам видел тогда, в марте сорок пятого, как изба бабки Катерины в один миг от завалинки до стрехи занялась пламенем: теперь уж некому будет «докладать» о ворованном зерне.

Все, вроде, обдумал наперед. Загодя спровадил к родне в Засаянье сына Борьку. Улучил момент, вышел из тайги, где соболевал, никем не замеченным подкрался к избушке горбуни, облил керосином старые бревенчатые стены — и ходу! Издали полюбовался своей работой. Из звонкого смолистого кедра рублена была избушка, справно горела...

Но горбунья восстала из пепла, крестит Мокеева широким знаменем: «Изыди, сатана!» И он побежал от нее, от Власова, на ходу грозя им небесными карами. Когда они

придут, да и придут ли, кары эти? А ему, Мокееву, наверняка недобровать. вновь упекут за ненавистную решетку. Встретится он там со своим старым или каким другим наставником, и тот вновь будет учить его чужой мудрости: «Мэмэнто мори!»

А куда денешься, коли собственного ума-разума не хватает. Нет, так просто он не дастся! «Бежать надо, бежать! — крепла в нем мысль. — Хрен с ними, с единоверцами! Они за Иегову хоть на костер пойдут. Пусть думают о смерти. А ему, Мокееву, жить хочется. Жить, как все люди, — свободно и покойно. Не в обещанном раю, а здесь, на многогрешной земле...



Валерий СЕНЧИН

## МАРИЯ

(«Гавриилиада»)

Он заявился вечером, под сумерки. Ввалился, словно бык, нечистый и дурной из хлева, заплутав; толкнулся не туда, куда бы надо.

Мария только что до белизны оттерла-отскоблила пол, сменила занавески, как на праздник; а разве то не праздник — встреча мужа после такой разлуки, как была у них, почти в два года — почище всяких праздников, пожалуй. Осталось только, чтобы вполне готовой быть, себя достойно обиходить, как и избу, — помыть, принарядить. Она поставила минутами назад на печь воды и в ожидании, как та нагреется, в который уже раз протерла насухо рогожкой стол. За яствами тоже не станет дело, все припасла, все есть; но с этим позже несколько, заботы на момент, когда иссякнут силы ожидать. Их мало оставалось, тех силенок, все истончились, вытянулись в струнку, обабилась совсем без мужика, как чуть и слезы рядом; не то, гляди, так вовсе — за матицу вместо зыбки, вот к этому крюку: такая иногда тоска подступит вдруг.

Но — «сколько бы веревочке ни виться», а речку подсветило наконец закатом; она, еще играя бликами тепла и света, все дальше отходила от окна, от огорода — к темнеющему лесу; струясь, играя, убегая, отдаляясь, она как бы спешащей, хлопотливой радостью своей взялась душой Марии

быть сегодня. Муж должен был явиться — Мария это знала, угадывала сердцем — как скоро солнышко, не нужное Марии в этот вечер, уйдет по-за холмы, за горизонт, и отойдет ко сну; упрчется за тишину ночи веселая шумливая речонка, «закроет за собою плотно дверь и там угомонится». Мария торопила их: и солнышко, и речку, и эти, не спешащие ничуть сгуститься, сумерки.

Но черт явился вместо бога, заместо ангела ввалился в двери дьявол. Она как терла стол рогожкой, так и застыла, онемев в испуге. Расширились глаза. От этакого гостя — ожидай всего.

— Эг-ге го-го... Неплохо подгадал, га-га! — катнуло от порога сытым рыком. Стеклянно — протестуя — забренькало в окне. — Вот это я умею — подгадать. Под самый, значит, ужин. Накрывай, га-а... — и вытянув из пазухи объемную бутылку, отпитуя уже не меньше чем на треть, лохматое, испитое отродье это чертово прошлепало по свежим половицам, как было в грязных сапогах, в передний угол и грохнуло о стол бутылку.

— А ну, расторопись, хозяйка.

Такое к вечеру всегда — не продохнуть! Лишь по утрам как вроде бы маленько отпускало, с чуточек махонький являлось новых сил, не больше и не меньше, ровно столько, чтоб дотянуть до нового утра; рассвет таил в себе какую-никакую, но надежду и возрождал как вроде бы тепло.

Она сегодня поднялась едва ли не с рассветом; привычно, по-крестьянски, как умела, жила — работой от зари и до зари. Над лесом, над рекой и деревенькой — густая тишина, не вскрикнет, не вскудахтает нигде. Вставало солнце. Лучи его, подрезав сопочку с вершины, упали только что в долину и, высветив дома и огороды, всех одарив, питали лаской, прогревали землю.

Пора, пожалуй, суетиться, хлопотать, клохтаться, но мир вбирал на сверхсыттку тишину и тешился покоем...

Протяжно и по-прежнему дремотно в соседнем доме проскрипело дверью. Выполз дед. Лениво, неспеша ушлепав к баньке с краю огорода, ближе к речке, не появлялся долго. Затем тропинкой, общей в огородах, прошел на берег. Повозаясь в кустах у заводи, с поднятым подолом исподней до желта залеженной рубахи направился обратно. Увидев на крыльце живое существо, не обошел. Согнув в коленях ноги, сыпанул на белое крыльцо рыбешки меленькой — достанет

на ушницу, — уснувшей, не совсем еще уснувшей, серебристой, свежей, пахнувшей рекой. Присел на низкую ступеньку у земли, покашлял, повздыхал одышливо, сказал:

— Грех раньше человека снизошел на землю, обетовал зараза. Нетленен пребывает, зло плодит, — недолго посидев еще, отклеился от теплого крыльца. — Сегодня ждать, оннако, надо радости тебе.

Стоял, как будто думу думая какую, весомую, значительную думу, и словно пережевывая собственные мысли запавающим внутрь, беззубым ртом. Мария так и подалась к нему: еще чего добавит, скажет что? Но он, подрагивая белой головой, пошаркал от нее, вминая в землю босыми обмозоленными пятками еще не сильную весеннюю траву. Ушел, оставив темный дымный след, где сбил росу.

Такой вот дед загадочный, все обо всем он знает, лежа на печи. Не в первый раз Мария получала весточку от мужа столь странным образом. Поговорить бы, расспросить: чего и как — однако понимала, не ответит дед, как будто даже не услышит тех ее вопросов, быстрее лишь уйдет. «Ах, дед, да кабы знал, как больно зацепил сердечко — не смолчал бы, а?»

Вся жизнь ее, как ей сейчас казалось, умещалась в муже. По крайней мере именно теперь, когда они не вместе, когда почти два года как разлучены — все так и представлялось. «А, может быть, все так оно и есть на самом деле? Взять прожитую жизнь да разделить ее, к примеру, на три неравных части, — думалось, — до, с ним и когда нет его. Вначале месяцы, теперь уже на годы побежал тот счет. Хоть в целом ты ее возьми, такую жизнь, опять придешь к тому же... До. С ним. И долго-долго как нет с тобой его.»

Муж. Шустренький и родненький. Отнюдь не великан — наоборот. С такою ладной фиксочкой во рту, под золото блестит и придает ему бывалый, залихватский вид. Блеснет он этой фиксочкой, так это быстро глянет, и кажется, что он тебя насквозь увидел разом, пронзил и понял все в тебе насквозь. Таким ей представлялся муж... Не розовой проглядывалась жизнь в ее воспоминаниях-думах (в табачной легонькой, так это — дымке, с желтым говорком; в работе, бабьей, нудной, постылой вовсе иногда: хоть режь, а надо шевелиться, что-то делать из часу в час, день ото дня одно и то же), но были все же в ней и летние рассветы, и руки теплые, которые нет-нет да и погладят, помянут к нежному ответному порыву и к жизни позовут.

Так представлялось — с ним. Огромно-малый тот кусочек жизни, длиною в общем в жизнь.

Пришлось однажды в детстве ей заплутать в лесу. Не здесь, она была соседнего села пришелка; совсем неподалеку заблудилась от дома своего, минуты, может быть, какие-то бежать. Однако испугалась так, лишившись своего клочочка неба, тропы своей, травы, знакомых кустиков и запахов жилья, где к маме можно запросто прижаться и выпить сладкого парного молока, которого вдруг захотелось до того на этот случай — ложись и помирай. Потеря своего угла-гнезда и мира, привычного тебе, — вот что всерьез и сразу напугало так действительно: лишь помереть. Страх перед голодом, зверьми и ночью подступающей и перед смертью истинной, не мнимой, пришел куда позднее. Внезапное исчезновение мира, который был всегда и вдруг его не стало, нет, нигде не видно, как же это так?.. да как же без него!.. — вот что отчаяние родило в первую минуту.

Сегодня же плутала не она. Мир заплутал и потерял ее.

— Э-э-э, накрывай! Мечи на стол, хозяйка, закусон. Гуляем, га-га-а-а!

Мария, внешне страх преодолев, хоть и зашлось внутри все этим страхом, как перед мерзостью какой, заползшей в избу, уперла руки в боки, избойчилась.

— Такой вот поздний гость куда как хуже татарина какого, — пусть худо-бедно, отбрила этак гостя: вот, от ворот вам поворот — дала понять.

Гость сел, пройдя к столу. Не обращая на ее слова внимания, на спинку стула вольно отвалился, ножищи разбросал во всю избу; стул жалобно скрипел, казалось, даже подогнулись ножки у него от этакой громадины.

— Поди-ка, баба, Вальку мне покличь.

— Какая Валька на ночь глядя?.. Та-а-аж и однако дома нет ее, — легко так обманула-повела Мария, как сболтнула, играючи и просто, абы что сказать, отделаться бы только, спровадить побыстрее сокровище такое за порог. — Иди-ка ты домой. Вона темнеет как, споткнешься где такой-то. Иди, иди давай.

— А то ты забоялась за меня, как носик не расшиб бы.

— Та-а-аж на деревне-от один жених, других-то не видать.

— И здорова ты, баба, языком молоть. Ногами шевели давай — сходи.

— Что за любовь такая: девку вызывать, сама не прибежит? — не то что в раж войдя и поддразнить решив, не до

дразнилок тут, но угадать пытаюсь, как лучше поступить, в карман за словом не полезла вновь Мария.

— Кто бабу на суку за язычок растянёт, однако все ему грехи простятся, аг-га-а-а...

— Заботят-шевелят, поднакопил?

В глазах у собеседника осмысленность внезапно появилась, задергал головой.

— Как в мать пойдешь, так шустрая такая шевелилка выскочит с тебя; как подрастешь маленько.

Мария ростиком была не больно-то завидна, на язычок — сильна, но тут, одумавшись, смолчала. Не стоило ввязаться вовсе с ним. Здесь лучше язычок-то прикусить, тут как бы выжить вон его скорее, этакое гостя. Но гость сидел. Устроился удобно, как будто он осесть намеревался на ночь здесь. Он даже не спешил к своей бутылки, не торопил стакан (Мария, ублажаясь собственной мыслью, сама подсуетилась — налейся, мол, скорей). Ей то, что говорил он длинно и охотно, не глянулось. Обычно тот бывал угрюм, похмельно — зол, сегодня — пьяно-добродушен, настроен снисходительно — с чего-то — к разговору. Он как бы даже улыбался затаенно сквозь свою щетину, ехидно ухмылялся, самодовольно снисходя к Марии: «собака лает», мол; как может что-то понимать и ухмыляться давным-давно не бритое и пившее дней триста шестьдесят в году без просыху опухшее мурло. И в этом угадав опасность для себя: расселся тут, а как да муж войдет, — Мария предложила:

— Пойдем, дак позову.

— Сюды ее зови, меня тут будто нет.

— Ай ты смотри, соколик! до чего умен.

Соседскую девчонку, той и пятнадцати годков, поди, не набежало (шагнула неожиданно в невесты в эту вёсну; из зимнего рванья, в котором дома ходят за скотиной, такая девка вылупилась вдруг, хоть сразу под венец), Мария и не помышляла вызывать. Быть может, время подошло и жениться ей, однако — с кем, смотря.

— Какая радость ей с такого женишка. Вы гляньте на него: совсем, Гаврила, ты записался, а! И нут-ка, дайте девку вы ему.

— Ты, баба, не финти. Ты лучше сбегай.

— Так что же я, выходит, враг себе? Мне жить с имя, с соседями-то ведь.

— А мне твое...

— А мне?!

Но взгляд его, остекленевший враз, остановил Марию.

А речка убежала из окна тем временем, лишь лес по небосклону пока отсвечивал мохнатою неровною каймой, вот-вот отрозовеет, смеркается совсем. Она представила внезапно взгляд из окошка, как словно подсмотрела с улицы в избу. Бутылка на столе, мужик, расхристанный, налитый едва не до краев, и взбитая как будто бы ко сну, разъятая перина на кровати, которую она вот толечко, перед приходом гостя, занесла с крыльца, напитанную воздухом и свежестью — для мужа, чтоб сладше дома, чем где-либо, спалось ему, но так и не заправила, не прибрала.

«Как глянет он в окно такими-то глазами, увидит все. Да, господи, что ж тут на ум придет! Ай-яй, да как же быть?»

На двадцать семь дворов — такая деревенька, Выселки. Среди лесов и гор. И от ближайшего села за тридцать с лишним верст. Болотце по дороге, в какую пору — лошадь не пролезет. В своем мире — своя, каковая ни на есть, отторженно от мира жизнь выселковая. Отрезанная как бы жизнь: от булки малый ситный ломоток и так же запашист, духмян да мал, и вроде свеж, да потихоньку сохнет. Такие же, как в целом если взять, живут здесь люди, какие и везде они живут; когда-то кто-то из родни, из них самих, не всех еще об эту пору перемерших, подсуетились для себя, когда бы надо было миру порадеть, и мир их вышиб. Кто больше и зловредней суетился, тех дальше вышибли, а этих — за село, за «то болото», где не квакнут больно, но и совсем, глядишь, не пропадут.

Отсюда молодежь старалась отслоиться, уходила; так натоптала в мир из Выселок тропу, что деревенька постепенно усохла на людей; потратив соки, в стебле отмерла и потихоньку догнивала в корне.

Мария «нос засунула» сюда по бабьей логике (как все оно обычно происходит — просто — в жизни): кто замуж взял, за тем пошла. И, кроме мужа, собственно, с которым год единственный, малехий, словно день, не довелось обжить, все было здесь ей чуждо. Сонливость двадцати семи дворов, сплошь старики да бабы... — как будто то болотце по дороге она не переехала, а въехала в него. Здесь даже облака совсем не те ходили, что над ее селом, над этой узкой сенокосной поймой вдоль речонки, и холодно, и сиро было бедолагам этим слоняться неприкаянно по небу меж вздыбленных холмов, поросших неопратно диким лесом. И речка тут, пусть та же, что и дома (родная реченька, всего-то тридцать верст),

и та — как словно даже и не та совсем; она тут вскачь неслась, она отсюда «голову сломя» в долину выбраться спешила.

И речке-то и той, вот именно, и ей хотелось с глаз долой отсюда, из этих хмурых, неприятных мест...

«Но ить живут же люди, и мы бы как-нибудь с Иосифом-то, а? И, может, зажили б еще, как еслив не война», — так думала Мария часом раньше, ту маленькую рыбку от дедовых щедрот опотрошив и прибирая к вечеру на холодок, подалее с глаз; не то — каких чужих, своим уж больно ласково смотрелось, аж слюньки потекли. Вторую вёсну не сеялись в деревне и больше года хлеба не пекли, оно — не токмо рыбки свеженькой, горбушечку бы ту да с жару бы, да с корочкой поджаристой той ломкой... Но: вот Иосиф к ночи подбежит, годи, так уж. На этакий-то случай, как-никак, а что-то припасла.

Забулькало в стакан. Мария взгляд оторвала от розовы окна, подумала: «Налился бы скорей, в конце концов. Сгорел бы, что ли, хоть от этого зелья, вот сотворил бы бог такую милость.»

— А ну-ка — на.

— Чего-чего! — Мария отшатнулась от стакана, руками замахала. — Вот те — раз... Аль сваху вздумал улецать. вдруг, а?

— Как не пойдешь, сама невестой станешь. Какая разница, такое же добро, га-а-а-а...

— Вот взварчиком отпотчаю, ты гли, дак затрясешь штанами-то, жених, — охолодев нутром, как будто все тепло ее груди и сокровенное из головы о муже, в живот куда-то пало разом, однако же, стараясь не выказать того испуга на лице, Мария завозилась подле печки, задвигала там чугульки с кипящею водой.

— Тащи-ка закусить, невеста, га-а... Да опосля сморчка горбатого свою, кому ты нада. Кобель, который на цепи, побреговает, ги-ы...

— Так и иди отсель, — обиделась Мария. — Не на цепи, поди. Чего расселся тут!

— Ты, баба... Ты меня не шевели, — залив в заросший рот стакан той мерзости из четвертной своей бутылки, занюхал рукавом и, осерчав, стал круче забирать: — Это пошто же так? — спросил, — стол почему пустой, сказал же ведь.

— А нечем кашу забелить, — отрезала Мария. — Коровку со двора свела не ваша милость? А что нет поросятинки, так извиняйте уж.



Отрезала и машинально уронила взгляд на закуток, где словно испокон хранился плотницкий топорик мужа с березовой, белеющей оттуда, ладной для Марии ручкой.

Вчера — внезапно вспомнилось — она вот так же взглядом, было, ткнулась в закуток. Сидела Валька у нее, подруженька, отрада в лихолетье, ее живая кукла, считай, два года так и просидели с ней, пережидая дни, как та внезапно спала вся с лица на шум какой-то во дворе, затрепетала таким осиновым листочком: ай, не Гаврила ли, мол, шарится-то там? А как войдет! Ответила: «У стенки, вона, видишь, штучка-от, не больно у меня расшебуршится». Веселая была Мария в этот день, веселая да смелая; оно и как — э! весточка от мужа.

«Откуда ж ты, лешак такой, гли, вылупился, а? — так думалось теперь Марии, — на наши бабьи головы такая образина.» Все мужики их деревеньки оказались, как вроде — мужики. Какие с войском подались, с красноармейцами, что шли через болотце в горы на всполохи зарниц, торя туда дорогу, где вздыбилась в кровавой страсти неведомого зверя, позором человечьим для сердца и ума его, война. Кто позже в лес подался, как ее Иосиф. Однако дома не остался ни один. Так миром порешили — за юбки не хвататься, хоть и не больно войны все. Так: бабьи мужички, не шибко-то и гожие к тому, чтоб под ружье таких; как вроде на посылках, затычками при бабах состояли; посмотреть — калеки да калики, старичье лежалое. А вот нужда пристигла, и снялись, оторвались от гнезд... А этот выродок! — теперь все именно таким вот образом и представлялось ей, с таким вот гонорком, с такой вот гордостью за мужа, за мужиков их деревеньки, забытой богом и людьми у черта на куличках здесь, совсем задрипанной и голодранной, не нужной вовсе миру.

«А ить кормует-от, лешак-то этот, а! Те мужики, которые как вроде мужики, в леса попрятались, выходит. Вот он и наедает морду-то за их за всех, у их же мужних баб: такую силу взял... Дурак-от вам, ду-у-урак.»

Шатался по селу когда-то тот действительным придурком — Мария и не помнила его почти, однако только-только начинала в школу бегать — паглатый, весь в прыщах, тер сопли рукавом, вот так же гоготал, как на смех деланный, как словно свыше кем подосланный к ним, к людям, на дурость эту посмотреть, чтоб всем такими же не быть. Здесь, в деревеньке, объявился он, как мужики, собравши сидора, ушли в те горы дальние, что замыкали небосклон с восхода, и где зарницы звонкими, с морозцами уже, ночами все продолжали

всполохами рвать насуспенное к непогоде небо и не давали затухать закату. Явился, будто чудище лесное, как водяной болотных тех трясин, где до сего скрывался; внезапно вылез да и пригнезвился у тепла печей и круглых бабьих спин, тоскливо ныне согбенных. «Вона, как обернулось все. Вот вам и Гавриил, мол, дурачок. Тут — то, да не совсем, тут... эвон вовсе как».

Тревожась дури гостя (как знать, что там к неумной-то, нечесанной башке его возьмет да вдруг подскочит), она взгляда снова бросила туда, где закуток. И вновь оттуда подсветило той белой ручкой, теплой и родной, любовно сделанной когда-то умелыми руками из ствольца изогнутой удобно, как словно родилась она стать топорищем, молоденькой березки. Он, муж-то, так умел все мастерить, такой уж столяр был, такой отменный плотник, такой-от нужный людям человек; и ей, Марии, за дни их жизни таким он стал родным, и так бы зажили они действительно... когда бы не война.

И, вспомнив это все, Мария осерчала на собственный испуг и подпрямила спину.

— Не видишь, аль? — строгось, отрывисто спросила. — Стираться буду-от. Мотай давай отсюда. Невесту, гли, дак покажу невесту!

— Стирайся, — согласился гость. Спокойно согласился, совсем не в лад ее словам и строгому ее такому тону. Не взвился, как хотелось бы Марии, не зашумел, — она была намерена, «взяв храбрости чуток от топора», и вовсе перейти на брань (будь что уж будет там, но надо как-то... Хоть ты его, дерьмо такое, лопатой выгребай). Но тот оскалился, напротив. Осклабно показал из-под дремучести заросших щек и губ прокуренные дочерна, гнилые зубы. — Стирайся, погожу. И полежу, устану ежелив, на свеженькой перинке, гы-ы... А то — пожрать чего там поищу. Полезу в подпол вот сейчас да твоего горбатого бандита и вытащу оттуда, — убрав из голоса угрозу и играя взглядом, внезапно повернул гость разговор.

— Ой уж бандита, а! — с обидой вскинулась Мария. Но так, однако же на этот раз обиделась, чтоб было не обидно. Насторожилась: свяжись с ним — леший его знает!

— А то, смотри — христосик.

«Ну уж — архангел Гавриил явился тоже мне», — не преминула огрызнуться. Но следующий его вопрос вдруг оглушил Марию, язык ее коровьим стал во рту, большим и малоразворотливым.

— С чего же, милка, ты крыльцо, скажи, намыла? —

спросил по-прежнему все так же ласково, как вроде, и сам, не выдержав довольства, сытого и хитрого в себе, загоготал гундосо.— Вчера еще намыла. Следы, что ль, замела? С такого-то дождя, с такой грязюки.

Вчера, как Валька убежала, оставила Марию с радостью ее — тут вона, мол, писулька на крыльце валялась, чего уж в ей, не знаю...— никак Марии не сиделось дома. Глядела все за речку: «Да где-ка же ты там? Как близко объявляйся-то, совсем ить рядом где-то. Ведь письмецо-то, а! Мол, день-то наш совсем не за горами,— пишет,— вернее, очень близко, за нашими уже горами, тут: видать уже его. И как ни там стараться буду подбежать теперь, мол... Совсем, знать, рядом, а!» И чтобы чем-то, хоть какой там суетой занять себя, пошла да на подворье прибралась: в пустой стаюшке (курица одна и та упрятана подальше в уголок, за огородочку), навозец старый выгребла, от уведенной ныне немцами коровы; крыльцо помыла. В вилюшечках резных перильца были, Иосиф мастерил... Уж больно ей порадовать хотелось чем-то мужа. Порадовала-от, намыла. На собственную голову намыла. Так мало бы того, на мужинную голову, выходит. У этого-то лешего — наган. Хотя и не видать сейчас как вроде, с наганом хороводится, однако, знала. Всегда имеется при нем какое-никакое ружьецо. Под кожушкой. А то и на плечо на выхвалу повесит, такая это сыть. Так видно он из маткиной утробы, кулацкое отродье, с наганом-от и вылупился, гли ты на него... А у Иосифа-то, верно, тоже есть наган,— с надеждой промелькнула мысль о муже, но тут же остудила воинственность свою: какой уж там наган, поди-ка, партизанам землянки мастерит да табуретки... э-э-э... Какой уж воин там, действительно, с ее-от мужика. Солдат, конечно, из него... эх-ха.

— Дак — как? Христосика пошарим твоего, гы-ы... А то: чего, и обождем вместех, га-а... невеста. Однако, рано-поздно выползет.

Застыв с открытым, на самом вдохе, ртом (впервые, может, в жизни язык ее, и востренький, и колкий, внезапно отказал, замешкался с ответом в тот именно момент, когда нельзя плошать) и словно душу застудя — холодным этим вдохом — Мария обреченно стояла подле печки, и в голове ее всполошная рождалась дума: «А ить ушомкает он Вальку-то, замнет, однако. Настигнет где-нить в уголке, чтоб мама не услышала,— и все одно... А тут! Ить муж, ить — э-э-э...»

Представилось — как в яви вдруг увидела она, не изменить и не предотвратить, лишь ужаснуться только и осталось — висит, переломившись, на плетне от речки з огород, до дому не дойдя, ее Иосиф; как тот молоденький солдатик... недавно, сошедшей только что с земли, морозною зимой.

Февраль лишь только отемнил и огрузнил снега на солнцепечных склонах, и по утрам все так же пробирало хиузком. По зимнему еще студнилось и накопало в окнах узорами забытой зелени листья и трав, богатых, сочных, пойменных — напоминанием о том, как это было: тепло и сытно всем, и очень славно. Но от реки сейчас тянуло к деревеньке паром. И лес казался стылым и враждебным — никак не верилось, что в нем, вдали от деревеньки, от ее тепла, теплиться может жизнь.

Здесь, в деревеньке, самый страх войны, в нее лишь краем глаза заглянувшей, хоть и растянутой теперь уже на годы, пока что оставался больше в том, пожалуй, что не было отныне при хозяйствах и хозяйках их кормильцев-мужиков. Для всякой бабы, молодой ли, какой была Мария, поживших ли — своих и родненьких, и самых славных. Пусть и маленько где-то с матершинкой, а где и с их мужижкой дуретцой, но все-таки — своих, и, может, дуретцой своею зряшной и славных в самый раз. Тех, без которых жизнь, как вроде и не жизнь — одна поруха. Как словно ты: хозяйка без хозяйства ныне, как будто без коровы во хлеву, с ее округлыми и теплыми боками и выменем ее, атласным и тугим и полным сытости на завтрашние дни, со вздохами ее привычными и запашком навозца, как признаком достатка на дворе. Как ты теперь — осиротелый дом без печки, ее жилого мягкого тепла, и холодно, и голодно, и сиро; и ты сама без мужика — то поле, со старым, тленным, зачернелым жнивом, не обихожное раннею весной, не тронутое плугом, страшно и жалко и убогопустошно; пороже бабьим животом земным своим, назначенным природой жизни — жизнь продолжать и не исполнившим того.

Бывало, зуб занает, засвербит — несчастье; а то как застреляет в ухе от простуды болью, так страсть, как вроде бы, совсем неведому такое. Сейчас — тому смешно. Теперь ту боль, казалось, за радость бы сочла, кабы она была вместо этой неприбранной тоски по человеческой обыкновенной жизни: чтоб дома был твой муж, чтоб колосились всходы — твоею бойкой мыслью давно взлелеяны, — чтоб грудь твоя по-

знала, наконец, и молоко, и рот ребенка, родного, теплого. так нужного тебе, которого настолько жаждался, что нету больше сил терпеть и часа, минуты самой малой...

Мария по утрам, на солнцевосходе, обычно выходила на крыльцо, смотрела вдаль на лес, все ожидая, когда же он пробудится и, дай-то бог, Иосифа ей, может, возвратит. Когда — спускалась огородам к речке и за речку, набрать вязанку сушняка. И там, где начинался этот самый лес и где была натоптана ее ногами тропка, он ей казался ближе и родней того, что отчужденно мерз вдали. Тот — не к душе Марии, держал всех мужиков их деревеньки, который год никак не выпуская. Хотя умом Мария старалась полюбить его, задобрить даже как бы: не держит лес в полоне, а хранит, и, может, сотворит бог все же милость, так и... того... На этом спотыкалась, придерживала суетную мысль — не сглазить бы.

В то утро, белое пятно над отемнелой тропкой и выцветшим плетнем увидев, приросла к крыльцу. И надо бы бежать, да ноги не бегут. Уверена была: кому же там еще, как не Иосифу... на тропке-то ее. Так шибко торопился, видно, что, к дому подойдя, от радости великой и привалился часом. Морозец-от... Такой мороз стоял все эти ночи — ломаясь на тепло, зима еще держала февральский студный форс — тут. упаси господь!

Набравшись духу, все же побежала. Остановилась в нескольких шагах, в сугробец ноги вмяв, как только поняла: бог миловал, то не ее Иосиф.

Закинув руки на плетень, как к печке притулясь, и руки эти потянув к теплу, он был суров и бел. От головы до ног — сурово-бел. Солдат. В хламиде белой, с белыми руками и с безборода-чистым беленьким лицом; лишь автомат вороньим цветом отбивал, глаза пугая, на этом белом — в маскхалате — теле.

Стояла молча. Стояла этак молча и скорбела, что вот, мол, как уходит, нелепо, вдруг, едва начавшись, — жизнь. Как вроде: заскорбела вся от ужаса. Но ужас тот ее, который ужасом скорей казался ей, был в самом деле — ужасом вообще, не шибко личным, что ли, как вроде и не ужасом совсем.

У человека остывало тело. Душа его, живая в этот миг, стремилась, может быть, в мир дома своего, которого дороже нет. В тот самый крайний час своей недолгой отходящей жизни, теплом своим, с душою отделившимся от тела у стылой чуждой деревеньки этой — отнявшей у него то самое тепло — она общалась с домом... А тут (пришиблась стыдно мысль), а тут все о своем: «Что ж с ним теперь... куда его?»

Все — о своем. Весь век всяк о своем, и потому — война.

Над верхнею губой солдата («молоденький-то, господи!»), чуть тронутой улыбкой, — испаринка пушистая на редких, может, никогда не бритых, белесых волосках. Как будто огрузился в сон, действительно. Шел-шел и привалился, деревню увидав. И под одною из ресниц, по той щеке, которой привалился на белый локоток, покойно и уютно, как будто на подушку в домашнем где-то там своем тепле — слезинка подтекла. Еще не льдинка даже, а слеза... живая... теплая...

По деревенским меркам их, одет он был исправно. Хорошо одет. И ватные штаны, и теплый полушубок уберегли его. Лицо, конечно, засинело сразу, так и не бросив кровь в ответ на колкий изморозный снег к его щекам, как ни трудилась до бессилья рук своих над ним Мария; и быстрой опухолью оползли запястья, и развалились враз — перекипев и лопнув — варениками губы.

Но оказался он живуч и шустр, минуты не дремал, придя в себя... Пока он исходил еще ознобцем и сучил ногами, боль жизни обретая вновь, Мария, завалив его какой-там одежиной, подшуровала печь, отполовинила с полдюжины картофеля, на возвращенье мужа береженных; метнулась на подворье. Захоронивши под полу (не кукарекнул бы) внесла в дом петушка. При этом ошугнулась было мыслью: курчонка-от яйца одна не даст, однако чем же жить?..

Солдатик, оклемавшись, видно, мало-мало (с помойного, снежком омытого с утра ведра, мочою напахнуло) — маячил у окна.

— Что за деревня эта? — едва ли не на хлоп сенной еще двери спросил.

— А — Выселки, — ответила.

И без того не больно теплый взгляд его колючим сделался. А наши, мол? Как к нашим выбраться?

— Дак мы-то тут: не наши? — встревожилась Мария. — Мы наши тут и есть... А ты один пошто? И так-от — налегке, без пушки даже, гли.

— Отстали пушки, бабушка.

Мария осекла свой бабий щип и глянула с испугом: не шутит ли?

Но время разве было обижаться и жить тем пустяком: взаправду, в шутку ли. Слепому — да вдруг свет. Тут дом, как словно сразу же обрел жилой, исправный вид. Мужским особым духом — что сладше всех сластей нежданых показался — сжигаемой махры по дому вдруг повеяло; и живо оживились половицы — уверенным шагам; запела в лад и

разно, забренькала посуда в шкафчике; и замурлыкал, вылез из-под печки тощий кот, ни разу не мурлыкнувший за зиму... Ну: точно в доме объявился муж — такая радость вот.

Марии радость в том-то и была, наверное, чтоб кто-то здесь дышал, чтоб для кого-то бегать, суетиться — жить. Вот так вот — просто жить, отогревать, самой отогреваться и быть живой жилым тем человеческим теплом. И думала она в тот день, пугаясь и надеясь: что хмарь, конечно же, еще подступит, что все это уйдет, и снова станет худо, однако же — он, мир, пускай хоть заплуталый и где-то... где-то... там... Он все же Есть! И снова, значит, Будет.

С готовкой да приборкой в доме, в желан души своей, в захлебе изводясь, обобрала меж делом — в рамках-то этих где-ка не старуха — как могла себя. К столу, как должно быть хозяйке, как полагается по-русски: с широкой кофты рукавом и с рушником, когда-то матушкой на приданое вышитым, однако белою лебедушкой выплыла.

— Пра-а-шу, гость дорогой, желаннай... как это — молодец! Слышь, самогонки-от, наверно, выпил ба? Дак — на одной ноге, годи пока.

Солдатик покраснел, руками замахал.

— Да я ее... Я, тетенька, не очень.

— Ну дак, садись тогда. Тогда, чем бог послал, — и первою, с волчинно-чутким нюхом, дрожа и трепеща, схватила ложку.

И видела она, возя из общей миски через стол тот очумело-запашистый суп, перед собою мужа... Вот едет она с ним, тогда еще чужим, едва-едва знакомым, который мужем только должен стать, испытывая отчуждение к нему; и хочется толкнуться, спрыгнуть на ходу с телеги дребезжащей этой, убежать. А голый локоток ее, когда трясет телегу, все тычется и трется о шерстяной рукав его колючего костюма. И за полдня езды она совсем изнемогла от этакой поездки и собственных страданий, натерла локоток до красноты и боли, как будто вошла в валенки по осени, не только икры измочалив при ходьбе — всею себя. Наверное, из вечера того ей потому-то и запомнился лишь стол: как в первый в жизни раз, за все свои семнадцать лет, она сидела взрослой гостьей за столом и вкусно, сытно ела. За этим же столом.

Когда в ведерном чугушке (а дома: трое девок да шестеро парнишек, мать — рот десятый, и от отца поросший лебедий унылый холмик на погосте)... когда из брюквы каша — сласть как хороша, так что там говорить.

И чуть охолонув от «страсти бешеной по насыщению

пуза» — корила этак вот себя да ела, едва оторвалась — подумала внезапно: «Ить сколько не видала мужика, забыла, знать, как там оно бывает, с женихами... а вот, поди-ка, и совсем не баба будто, и радость все тебе одна, одна лишь сласть — пожрать...

— Гы-ы... Га-а... Го-о... Прижмурилась! Мешком из-за угла пужнули? Другого мужика, однако, сыщем. Какой там был мужик: горбатенький, убогий. И проку-то с него, гы-ы ы-ы...

«Был... э? — Мария встрепенулась, от печки повело ее, но не открыла рта. Как словно ссохлись губы, никак не разодрать. И подбородок удержать от цоканья зуб о зуб нету сил. — Как это... был?

— Ухлопаем бандита твоего маленько. Мал-мало жизни порешим. Чуточек ноги выдернем из заду, и ту, что покороче, и ту, что подлинней. Маленько подровняем хромоножку, гы-ы... Прижомкнули их там у городов, как это... аки гнид. Сюда наладились. Твой хроменький-то, что же, прибежал?

Она, дыханье затаив, ловила слово каждое... Однако тут чего-то не того. Ты гли, разговорился. Дурак-то от как развязал язык. Поди-ка, не болтун Валюшкин дед-то, а он другое знат...

И тут за окнами, в безликом полумраке, — закат еще не все отлинял и сник, и самый горизонт окрашен тонкою полоскою багрянца — неясно, издаля, совсем-совсем чуть-чуть, всполошно подсветилось белым светом; погасло... и еще. И эти всполохи, забытые на годы, как сгнувшие будто в тех годах, внезапно отеплили мысль. «Солдатик-от — дошел», — подумала. Связался этот всполох с конкретным у нее: искать не надо в памяти далекой, он близок как родной, родней родного, солдатик, этими руками отогретый, от смерти упасенный, ей весточку как вроде посылал, приободрял как будто бы ее. Там, за ее тропинкой, для мужа наторенной, и той большою торною тропой, которой шли войска через болото и деревеньку их, шли окровавленно, измученно, убито куда-то в глубь лесов, за эти горы, которую второй раз снегом занесло и снова отогрело, утаяло дороженьку-тропу — не сыщешь там следца, и где казалось все в утробном стоне избитой, убиваемой земли перемолело до былинки малой, зарницами пожгло еще когда... и некому торить возвратный путь... — себя являла жизнь!



На той большой тропе ее солдатик оставил тоже след и именно — никак нельзя иначе — на путь возвратный. Он обещал вернуться и «отквитать должок» — оборонить ее. Мальчишка этот малый, ему еще б в солдатике играть, ему бы на печи мороз из тела выгнать, а не в войну, не встречу ее идти... Тогда она его так это уколола: долгонько отступашь, мол, не больно, гли, поспешно, последние когда уже прошли. «А я... Я — не последний, — отвечал, — я, видно, буду первый. А это, знаете, совсем другое дело.» Такой вот вежливый и чуточку обидчивый солдатик и, может, самый молодой во всей большой войне, совсем еще ребенчишко почти. Замерз бы-от и все, ты гли — один. Зима ить и морозы... Какая тут зима у вас, мол, смех. «А было не замерз.» Обиделся, когда сказала этак, вниз губы потянул, вареники свои. — Да сибиряк я. С Енисея — сибиряку замерзнуть!..

Однако, где-е-е-ко это — Енисей... подняло с издаля его такого. Дак ить не зря подняло. Уж тут такое дело: пришла беда, так и не след сидеть...

— Так прибрала горбатого — куда? Куда упрятала? — гость продолжал свое. Забота у него своя, такая больно шибкая забота: себя бы сохранить. — А то: потек навстречь? Зашевелились там, с той стороны.

И как он так сказал, Марии будто бы оконце распахнул; нечаянно да собственной рукой мир перед нею взял и осветлил. Ей напахнуло речкой, и землею, и травами весенними — самой весной; весна опять в миру творила травы, былинки возрожда, сожженные войной.

«Вот что задержало тебя. Аг-га закукарекал!»

И как случается со всяким это, и как бывало с ней не в первый раз: припрет — не продохнуть, пропала вроде, все, а коль отпустит — пуще.

«Вот так — земля-то, а! Она большая ить, земля-то наша. И сколь на ней людей, солдатиков-то — эвон. Как надо, так они, однако, все солдаты. Дак рыпнулось! А-а? Шиш! Ну — уж теперь в прищурку.»

Едва успев подумать — сделала. Прищурила глаза, с ехидцей снизошла:

— Э-э, милай, опоздал. Был. Навестил да сплыл теперича. Потек, потек навстречь, — и вот такой характерец, поди ты; нет тепленькую воду придержать... ей дай хотя бы наболмочь, но отплатить, воздать. — А как потек, сказал: вернемся, так поганцам кой-каким тут, мол, головки подвернем. Не знаю уж, кого имел в виду...

Сболтнула, а потом: не больно ли... того, не шибко

смело ли? «А — на тебе!» — так это с лихостью подумала, как с горки в яр катила. И-и-и — полетела вниз: и боязно, и лихо, и манит эта жуть. Тут только бы не сдать, не забояться. А вот такая вот! Пошто должна сдавать? Коль всякий раз сдавать да перед всяким... сдавалок, мол, не хватит. Такая уродилась. В маму-от. Та вроде бы как тоже: с соседями направо и налево, и с теми, что насупротив, а то и на задах — не расплюется за день хоть по разу, так жизнь ей будто как и не мила, бывало. И коли уж натура в ней гнездилась эта исподу — так и до той години; так с тем она, нимало не согнувшись, с такой вот человеческой отчаянностью и гордостью своею человеческой, не шибко-то и немца забоялась. Погибла от побоев, когда детей ее, оставшихся при ней, двоих Марииных сестреноч и малого братишку, от дома стали отнимать каратели заложниками против партизан. В глазах Марии пухом ей земля уже за то должна бы стать и быть на веки вечные, как бросилась она когда-то на защиту мужа — отца Марии на глазах Марии — под колья тех отцов, сегодняшних таких вот Гавриилов, когда они с обрезам и вилами пошли войной на мир — в тридцатые, Марииного детства отчаянные годы. Неужто было ей не боязно?.. Да — нет таких людей, которым вроде ничего не страшно. И не у всякого натура может так беспамятно, как вроде бы, взыграть, чтоб грудью, беззащитной вовсе, своею смертной грудью, неоглядно — пускай и за свое, за мужа, за детей, но да не за себя же — вот так вот, взять и встать. Не только за себя.

— Шатаешься-от по деревне в темень, — уже и руки под бока посунула она, — а бабы мужиков, христосиков своих, однако шибко ждуть..

— Ты, ладно, баб. Ты дуй давай за Валькой... О чем была б нужда, о бабах мне.

— Ну — уж! Оне, ить, бабы шибче ноне ждуть... Дак подогнут они, вот истинный те бог, попомни слово, березку подогнут тебе они.

— Гы-ы ы-ы...

— Смеешься, дак... Раздернут курам на щип. Они, ить ты смотри. Они — ить бабы!

— Ы-ы... Страшнее зверя нет, ы-ы...

— Иди-ка ты, действительно, Гаврила... Иди, ради Христа, — теперь она уже, понятно, не просила, а как бы: мол, не выводи меня. Ей было в кого быть зубатой-языкатой, а в этакий-то час уж ей сам бог велел. Вот ростиком маленько жаль не та, не в мать пошла. Не додал тут ей бог, маленько обделил. Он многого чего не додал ей, Марии, хотя бы с

Гавриилой этим взять сравнить. А то бы понаделала, однако, дел она. Ай, понаделала! Подправила она бы кое-что. По-всему подправила. Весь этот мир (уж больно он не в гладь стелился ей, подпер, как дышло в ребра) взяла бы в переделку. И самого Христа взяла бы в оборот, не только Гавриилов эт-т-та-ких. Чего-чего, но дай ей волю — ей эт-такеньких-то — на понюх табаку, переродила бы из лешаков в людей.

— Согнем тебе березу так-таки!

— От — зацелю чуток, — он выставил перед собой ладонь, собрал неспешно пальцы, однако с голову Марии стал кулак. И пикнешь, аки мышь, гы-ы... под Гавриилом.

— Ты мышь копной-то больно не пугай. Она — видала!

Он встал. Задрал на животе рубаху, потянул из-за ремня наган с изогнутой, в резных вилюшках ручкой.

Красивенький такой, нестрашный был наган, с красивой этой ручкой. Хороший, видно, мастер такую сладил красоту — на заглядение. Иосиф вряд бы смог, на что уж был мастак.

«А вот он и наган», — подумала. Сторонне наблюдала, как будто не касается ее.

Он положил наган на стол, подле бутылки. Взгляд на бутылки задержав, налил чуть больше полстакана, выпил. Зашарил по карманам, по локти влез в бездонность шаровар, достал оттуда «бонбы». Их было две. Овальные, как двужелтушны яйца, но только чуть побольше, и покруглей, и в рубчик; окрашенные в цвет — в болоте будто забурели — темно-зеленой грязи.

Подумала: зачем... наган и бонбы?.. Опомнилась, как он в стеклоко лампы дунул и свет в ней погасил. Вошла мгновенно в память. И, подхватившись, стремительнее мышцы бросилась за дверь.

Настиг. Вмял в острый угол косяка тем самым местом, где пуговики сходились с позвонками. «Куда-а... — вонюче задышал в лицо сивухой, — христосика-то, а? Как ежлив не Гаврил, откуда взять Христа га-а... Марии?» Непрочная материя домашней кофточки, застиранной, линялой, под натиском его руки вся расползлась и обнажила стыдно перед ним живот и маленькие, некогда тугие, задрябшие мешочками теперь, не по-девически опущенные груди. Вобрав их в лапщу и жомкнув, отпустил. «Рахитка, али ты... чего? Какаята...» — зашарил по худому, как у изросшего подростка, тельцу, не находя округло мягких мест.

— Гы-ы... э-э?..

Сна, дрожа, — от омерзения под грязною рукой, и кожа

там, где прикасался он, вспухала пупырышками — ждала, когда отпустит. Молила только: муж бы не вошел, вот только б муж... А тут, чего — помнет да бросит; вон сколько по деревне баб — готовых до такой забавы.

И, осмелев, когда рука обмякла, прочь с тела поползла, не удержалась:

— Ну дак, настриг чего с паршивой-от овцы?

Он взвился, озлобел, взревел зверь-зверем:

— Христосика тебе! Исусиков, зараза!

И, с места не сходя, от двери бросил на кровать. Сам тушей неподъемной навалился сверху. «Издадим щас тебе... Христа...»

Она царапалась, кусалась, как выдалась минутка, — пока заламывал за голову ей руки — изловчилась, ударила его коленкой в пах; но это лишь его взъярило, ускорило развязку.

— Однако, комсомолка, гы-ы... Всеобщая, га-а... Дак ощенишь таперь всеобщего Христа, гы-ы а-а... От Гавриила.

Она потерянно сидела на кровати, ноги свесив, не доставая белых половиц, до блеска вышарканных ею в ожиданьи мужа.

«То-по-ри-ком», — подумала.

«Топориком... Когда бы сил достало на топор». Вон на столе: красивенький какой, ужасненький наган. И «бонбочки», их даже целых две. Зачем, однако, две? Иосифу — одной по-за глаза. Как шандарахнет!

«...то-по-ри-ком... э-э-э...»

И как бы можно было ныне ей, однако, небо, лес, людей, те горы и войну саму — да как-то умалить, как слезно упротить за мужа, уберечь его... Когда бы то возможно было: она на соль ли, на горох, на «бонбочки» те в рубчиках колючих, на что угодно, и на сколько богу, людям, какому черту-дьяволу угодно — не медля, на колени встала бы и век молила.

«Топориком... Сиди, куда уж как смела, пока не придавили, как курчонку. Действительно, вот-вот: петух, чужой, гулявый, пока свой зазевался, махнул через плетень, и-от тебе... то-по-ри-ком.»

Она глазами доползла до печки; белея топорищем, он там стоял и подмывал к отчаянью.

«Эх-ха!..» — и за оконце глянула.

Там тонкая полоска багрянца жаркого не улиняла вовсе, но заревом взялась и поднималась ввысь, и ширилась, заполняя небо. Одной заре, не дав ей отгореть, спешила встречь другая.

«Но дак — а как же вечер? Ить, ночь, она придет — ей поперек не встать, не запереть дороги. Однако тихой сапой приползет, сироткою прикинется, омманет... и расползется, отемнит тут все. И бросит в сон — забытие живое...»

В заботе-шебуте так вовсе день малёх, февральский этот — в изморози проблеск; лукавый бокогрей — не до души, а этак только вскользь, чуть солнышко продернуло, едва-едва моргнуло, и снова на мороз. В сретенскую-от пору и пряжу не зорнят, не сшиблены с зимы еще рога, так холст не станет бел.

Марию разбирала осердчная горечь. Февральский тот денек иссяк, ушомкнулся в момент, не подсветил ничуть ей теплой радостью. Была проблеска у нее, такая вот надежная раздумка: что поживет солдатик у нее, побудет. Не так же — словно в зло, взять кануть снова в тьму, чуть проглянув из мрака: был? не было его?

— Ты отдохни да хворь-то пережди. Да на темно — ледашему тебе! Сам, гли, куриный синий пуп — а то-о-оже!

Солдатик важничал игрушками своими, поразложив, поразобрав на лавке — и сам на ней верхом, как на коне, в солдатика играл. Поддай-ка, мол, сюда мой инструмент, в порядок приведу. В войне, как и во всяком деле, главней всего порядок; как будто бы война и не пришла убить как раз и справность жизни, и нажитый людьми труда порядок. «Вот бонбочка тебе еще твоя, — пошарив на полатах, отрыла из наваленной там всякой шебуры еще одну игрушку — исправная, поди. Вона какая справная тебе на тельце пышка. Гли, и колечко тут, заобручилась с кем, с самой войной...» Он округлил глаза: колечко не моги, мол, шандарахнет так! «Избушку разнесет? — Мария восхитилась, входя в его ребячески-солдатский лад, с игрушками его. Так это вроде как подсепетила, подыгрывая чуть: — И нас с тобой! Весь мир! Весь белый свет!» Избушку не избушку, свет не свет, но у кого весь малый свет в оконце, на этот свет вполне, мол, даже хватит.

Мария подковырку поняла, сама была гораздо, но утаила то, что поняла; игралось тоже ей. Не радостно ли разве было видеть, как топает по горенке он, крепенький, живой, как жжет свою махру, как лопнувшие губы пальцем тронув, с досадством усмежается — без боли, по-мужски: свербят, надоедают едким зудом — так это улыбнется и душу озарит. Ведь как немного, думалось, для радости-то надо. И отчего ее, той радости, так мало настолько уж совсем, что нет ее почти?.. Хлеб трудно вырастить, непросто дом построить, но радостью такой людей-то одарить... Пошто же так, без серд-

ца-то — зачем? Зачем же перевернут мир в изнанку? Вона — та радость, взять: захорохорилось уже, запетушилось ей, уже, ты гли, гребется вновь в войну.

— Удумал — в ночь идти. Да где-ка, ёрзок — э! Здоровому-бывалому те горы, попробуй одолей... Когда ж она свое такое пузо напихат?

— Что-что? — не понял.

— Война... Портянки да хламиду-то твою я постирала, вон возьми.

— Угу-угу... Спасибо, — он навернул портянку ладно и умело, притопнул валенком, как был бы то сапог. Так это по-солдатски, конником лихим — осталось звякнуть шпорой.

— Уж больно лихо ты сегодня воевал, на спозаранки. Зубовным скрипом ажно исходил, — в привычку зацепила. Да разве не обидно было ей: путем не обопнул, вдруг — идти. Ни зла тебе, ни доброго словца как вроде. Серчала исподволь. Старушечье ворчанье забирало; ей словно спешно навязать к брюзжанью надо было и ши-и-ибко в этом поспешать. Чтоб часом тут, в тиши пустого дома, не заглохнуть вовсе потом наедине с собой; после живого голоса и дыха — вдруг та же стынь.

— Пошто такое зло. И ты... — хотелось ей сказать, такой вот молодой, а тоже... — не сказала. — Не люди словно бы, однако, люди.

— Такое дело, — хохотнул, — ружья не признают на выселках у вас. Не разрешает вера?

Никак не мог, а может не хотел, понять ее: важнее важного была ему война. Вновь топнул валенком, вторым на этот раз, и молодецки встал. И тотчас с лавки потянул оружие.

Ее обиду подняло опарой, хотя мгновение какое-то назад теплом еще, не норовом жила.

— Солдат-то мы видали, таких-от — петушков. И не такие, было, обмарались, войной-то этой всей... Да — братьев у меня в войне, что повзрослей, четыре. И муж, и брат еще один — тебя молодше, не молются в горах. А то — ты гли, какав!

Вот так вот посиди, как словно на цепи, однако, год-другой, не взлзать впору — взвыть. И в первый, может, раз за эти годы обмякла вдруг, квашня-квашней осела, где стояла, на пол и, заскулив, смущаясь и слабя, в обиду уходя, — и вот уже подперло — взрыдала, омутнись рассудком, в полный голос. Ни полою водой всех рек земных, ни милосердной

силою какой другой стихии отчаяние Марии не омыть, не заилить, казалось, в этот миг.

«Ай не люди ли вы... и все-то воевать бы только... по-бьете там совсем друг друга, куда еще-то больше убивать, кому тогда-от жить... нам как, однако, жить тогда-то, а... одним-то бабам... пошто же так? Али не люди вы?.. однако — мужики, однако — хуже баб, с одной войной какой-то там паршивой всем гамузом не справитесь... и-и-и-и-и...»

Кричала долго так. О многом накричала, что накипело, то и разгребла. И полегчало ей, как откричалась. Задышная вдруг спала пелена, и радостью святого обновления завёршился тот долгий бабий всхлип.

— Не больно генерал... — еще с ее, обидой искривленных вспухло губ, не уползла обида. — Однако мог маленько и побыть, — яснилось ей: последнее всегда за бабой слово, — не все войной, но миром тоже надо жить. Чуточек хучь. Однако.

И уж такая вот — коль в голову залипло ей да в голос заплела — на том стоять:

— Обулся на ночь глядя, оружие схватил. Я утре думала уже: дак как же зарывать? Тут сколь мороки с им. А то, гли, кто докажет: на тропке, мол, ее — дак к ней, поди, и шел. Дак верно — партизан. И глазом не моргнуть, в момент повесют. А то, гли — в полынью... Дак и теперь чего — стою себе-от думаю — дак в полынью однако даже лучше. Вместях-то, а? Коль парой в полынью. Одной-то — и живой куда хужее.

И все, что было в ней от бабы, возмутилось так! так поднялось и оскорбилось вдруг, когда плечо огладив ей заботно, деловито, неловкою рукой (как будто был он стар и очень мудр, и вовсе сам не шмыгал вслед за нею носом, когда она ревела), солдатик снял с гвоздя неторопливо, блеснув с нее звездой в отблеск печки, шапку.

— А я, — сказал, — а я еще приду. А я еще приду, спасу тебя.

— Одна, одна... Как голубок какой спустился, было — э...

И долго длилось их прощальное молчание; две жизни в нем как будто истекли.

— Ребеночка уж так уж надо мне. Не нажила. Однако — не успела. Хоть... Все хучь не одна.

И как солдатик после слов ее скраснел, — сквозь шапки мех прошибло из него невинный жар стыда — Мария, потрясенная догадкой, по-своему все это поняла. Военному-то делу, солдатскому научен он, однако, настолько даже навычен к

тому, что мирной жизни в нем не стало и следа; житейского такого дела, как человеку надобно дышать, как жить — однако не убить просила — он забоялся пуще, чем убить.

«Э-э... то-по-ри-ком... Когда бы то уметь, когда бы мочь осилить. Ай не во зле ить жизнь, но как же быть со злом?.. Так урядилось бабе лишь два дела: христосиков жалеть, исусиков рожать. А тем опять, ты гли, шагать в войну, в солдатики бежать...»

— Гы-ы а-а... Таши другой стакан. Как оскоромилась — обмоем, — сыт, пьян, «нос в табаке», приотрвав от стула зад, собою удовлетворенный — с довольной мордой кот так выгибает спину — испортил шумно воздух. — Га-а-а!..

«А ведь кому-то этакая мразь, скотина, наверно тоже в сладость, — подумала. — По-своему голодует-холодует всяк, кому-то мать она родна, действительно, война-то. Иначе ей с чего распыхаться бы-от? Он, мир-то, тоже всякий.»

Представилось: а вот он и нашелся — мир. Блудил не ублудил, явил-таки себя. Нашелся и нашел ее... блудницу. Стоит она сбочь той большой — к нему ведет — тропы, а на руках ее содеянный от блуда, укором ей и миру-блуднику, малехонький Христос.

— Ну ты! Га-а... Чего там, не издохла?

— Гы-ы, — продолжила внезапно в лад она; так это нежданно и для самой себя съязвила. — И не издохну, шибко не боись. Вот так вот — знашь.

— Дак кто от этого, однако, издыхал, га-а...

— Я тоже не издохну, — подтвердила. — Теперь доука у меня такая: чтоб ты как не издох. Ты уж — годи пока, маленько потерпи. Дождись, как наши-то придут. Придут-от мужики.

«Солдатика взяла вот упустила, — подумала внезапно, — не сговорила-от, не умогла. Теперь сама ты — э-э-э...»

Ей раскру бросило в лицо, и вспомнилось, как тем моментом она по-бабы ослабела и как бы поддалась; на миг какой порывом на порыв преступной, клятой страсти — отвела.

«Вот он... вот и Христос. Взаправдешний тебе. И не от бога, ангела ли, духа — от Гавриила.»

Взгляд к печке бросила, к белеющей там ручке топора; потом — к столу, на руку глянула, держащую стакан, большой, граненый; его и не видать почти, стакана, в лапище.

«Да где-ка зашибешь... Мальчонка малый тот, он в снег



и в смерть, однако — в жизнь ушел; туда, где люди, — люди. Жизнь. И вона мир тебе и тоже жизнь, в тепле, в свете, постелено тобой... Мотнулась машинально взглядом к двери: а как да муж войдет, увидеть бы успеть в последний этот миг.

— Эх, разбирает тебя!

— Да уж, — ответила, как бы в заступ шутнула. — Валил бы-от, действительно, сидишь, — хотелось мысль свести на то, что все теперь, мол, взято. В надежде: в самом деле, поднимется уйдет. Но наторенный путь их разговора непредсказуем был. — Оскалил зубы, гли-ка, возгордился, — заерепенилось, завозмущалось ей, натура верх взяла. — Рога шшибут, годи. В ощип теперь пойдешь!.. Я те не зря сказала: бабы!..

— Схлопочешь, ги-ы... Оно, однако, так, — не удивляясь вроде, как бы не ей сказал — подумал просто вслух.

Мария же не слышала, что он там говорит. На стол она глядела. Две «бонбочки» лежало на столе — глаза открылись. «Как шандарахнет», — вспомнилось. «Вонючке этой — света не видать, и мужа не видать, от Вальки — ушки, э!»

«Две. Целых. Бонбочки. Иосифу сготовлена одна, — считала, — второй добыл бы Вальку. Там — дед, пока живой с секретцем этот дед, поди попробуй тронь. Однако и его, как ежелив с нагана,.. а то-от бонбочкой. Наetye, ты гли, так это — обе в тельце, с колечками обеи, вглядь с войной. Заобрученные».

Бежали мысли споро, рвано, как всполошно за окнами зарницы рвали небо. Там белым часто-часто било в купол. И всякий раз, как полыхало светлым, невидимые, издали — побренькивали будто бы колокола. И в тех колоколах, однако, билась жизнь, — так представлялось ей, — травинке всякой, былочке-былинке... не можетя, горит — но вот звучит и ей, однако, колокол... ко-ло-ко-ла-а-а... Росинке всякой малой в память: бо-о-о-о-м-м-м...

Поджилкой каждой — «господи, — подумалось, — овечий будто хвост» — играло, билось тело.

«Две... Целых... Бонбочки... По-за-гла-за!»

Она внезапно грудью подалась вперед и со стола — ту, что лежала ближе и была на глаз как вроде посветлее и теплее, чем дальняя, та, темная за лампой, — сгребла гранату.

«Курчонку-от, однако, кто похолит, какого мусорца ей подгробет теперича?..» И мысли так пошли, пока колечко щупала: что вот война подружек сшомкала у ней, у курочки-то петушка уела. А тот ее, однако, было, спас, он уберег ее тогда от немцев тельцем — как всяк свой своего вот так и бережет — забился с нею в уголок (как был бы тот, однако, заку-

ток — сберечься ей и миру!) — оборонил. И, мол, когда б такого петуха — вот эту бы скотину, топориком по горлу бы!.. Да-от, однако — шея...

И укололась мыслью, как вроде о себя: невинную скотину оскорбила — взялась ровнять. Да самая последняя свинья и та вот так вот под себя не ходит.

И — прежде чем колечко потянуть — из глубины души ее, как словно остеречь стараясь, такой как вроде писк: «А ить и он живой. Ить человек. Ему, однако, тоже будет больно.»

Щедра ты, женская душа, на состраданье!

И все-таки она рванула, пальцем уцепив, то малое колечко.

И в эти длинные, подобные недожитым годам, мгновения, в распахнутые ужасом глаза ее — на боль, которой ожидала — не бабы, скорбно сжавши губы, наплывали, не Валькино лицо все заслонило вдруг, не муж, такой вот родненский и близкий, явился ей; не думалось Марии и о том, что этакую малость взяв от мира, она так много отдает ему; все то — не то: она увидела полянку, едва приметную тропинку ту, где заблудилась некогда, теряя этот мир, где трудно выбиралась к миру встречь — на Человека Торную Дорогу.

...Дорога в рай торилась ей, в ад — Гавриилу.



Аркадий ЗАХАРОВ

## ДЕНЬГИ

(Рассказ)

Они сидели за самодельным, грубо сколоченным из нетесанных досок, столом. Вместо стула под каждым из них приземисто и прочно стоял сучковатый чурбан. На столе, на разостланной газете, лежали неразрезанная булка хлеба, луковицы, консервы. И, как венец полного застольного счастья, горделиво подняли вверх беленькие головки четыре бутылки водки.

Как в преддверии чего-то важного, в комнате стояла тишина. Такая тишина бывает перед восходом солнца или перед его закатом. Боясь нарушить ее, люди молча косили взгляды на стол.

Прямо перед Павлом — полное, раздобрившее лицо Геннадия Швецова, рядом с ним худой и высокий, как оглобля, Петр Казявкин, у стола всегда задумчивый и угрюмый бригадир Николай Романов. Рядом с Павлом сидел последний член бригады — маленький, светленький Санька Кузьмин.

Осторожно, незаметно Павел переводил взгляд с одного лица на другое и тоже молчал. Все здесь для него было ново, неожиданно, загадочно.

— Ну что ж, начнем для начала, чтоб дело крепчало, — сказал наконец бригадир, и единый протяжный вздох выразил нетерпение компании. А бригадир неторопливо, будто совершая обряд, раскрыл одну из бутылок, и светлая, прозрачная жидкость заструилась в стаканы, приятным мелодичным бульканьем вселяя в сердца теплоту и негу.

Выпили по первому стаканчику, и отогрелись сердца, развязались языки.

— Ах, — блаженно вздохнул Казявкин. Был он так высок, что и сидя казался выше стоящего рядом бригадира. Он сутулился и время от времени поглядывал на потолок, словно боясь ненароком задеть его головой. — А-ах, — повторил он, — будто ангел босиком по душе прошелся.

— Ну, ну! — подал голос бригадир. — Сказал же я... Для начала... Завтра чтобы все, как штык!

— Да что ты, Николай Петрович, сумлеваешься в нас, что ли? — спросил Казявкин, обиженно глядя на бригадира.

— Ну, хорошо... Допивайте тут и отдыхайте, — смилостивился бригадир. — А я пошел... Спокойной ночи, малыши, — закончил он со знакомой уже Павлу безразличной улыбкой, чуть косившей его рот вправо, и вышел.

— Во, человек! — проговорил Казявкин, восхищенно глядя на захлопнувшуюся за бригадиром дверь. — На ходу подметки рвет, стерва, — продолжал он все тем же благоговейным шепотком. — Дома жена верная, красивая, в каждой деревне по бабе, денег куча. Умница, одним словом.

Во время разговора каждая мышца его лица, каждая морщинка ходили ходуном, словно помогали словам. Голос его, жесткий, резкий, с хрипотцой заядлого курильщика, выражал уверенность и не располагал к возражениям. Казалось, оборви его, скажи слово против, и он взорвется, как мина, на которую наткнулся неосторожный корабль. Руки его, часто жестикулируя, помогали словам, глаза неумолимо сверлили собеседника, будто каждый миг спрашивали: «Согласен?»

— А вот как вы думаете, ребята? — продолжал он, повысив голос и делая паузу после каждого слова, что означа-

до: разговор будет о важном.— Ответьте мне на такой вопрос: что такое деньги?— Обвел всех значительным взглядом и, подняв над головой указательный палец правой руки, изложил:— Что такое деньги?

И снова умолк. Поспешно вытащил из кармана пачку сигарет, чуть подрагивающими тонкими пальцами извлек одну оттуда, небрежно бросил пачку на стол и, чиркнув спичкой, несколько раз жадно затянулся. На его длинной загорелой шее вздулась голубая жила, губы напряженно подрагивали: курил, словно в жажду пил воду. Закурили и остальные.

Немного успокоившись, Казявкин посмотрел на всех поочередно и уже тише повторил:

— Так что такое деньги? Кто мне ответит?

— Интересный вопрос,— начал было Геннадий, но Казявкин тут же с жаром перебил его:

— Оч-чень даже интересный... Я вот всю жизнь в труде, а что такое деньги, может, так и не знаю до конца.

— Ну нет,— перебил его Санька,— для меня этот вопрос ясен. Деньги — это независимость, почет. Зайдешь, бывало, в ресторан с полным-то карманом, а вокруг тебя мелюзга всякая трется: «Санька, друг любезный...» Они тебе комплименты сыпят, а ты вроде бы и не замечаешь никого. Потому что независим. И такая на лице твоём гордость, а в душе сладость, что дух захватывает. Да я ради денег на все пойду!— почти выкрикнул Санька, и глаза его засветились, а лицо заалело.

— Отчасти правильно,— поддержал его Казявкин.— Но только отчасти. Вот мы. Покинули культурный город, уютные квартиры, теплые постели, приехали в эту глухомань. Зачем?— и он снова сделал психологическую паузу, обвел взглядом слушателей.— Строить телятники? Коровники? Да по мне хоть век не будь ни тех, ни других. Были бы гроши в кармане. Но если мы не построим телятников, никто не даст денег. Значит, что нас собралось вместе? То-то и оно... Его величество золотопалый микроб. Деньги, они что угодно сделать могут. В общем, я так считаю,— декларативно продолжал Казявкин,— деньги — это счастье. Есть деньги — есть счастье. Нет денег — и счастья как не бывало.

Он умолк, и все вокруг притихли, думая каждый о своем. Слышалось только тихое дыхание каждого, звон мухи о стекло да мерное тиканье ходиков со стены.

«Что же ты молчишь-то, рабочий человек? — думал Павел, неприязненно глядя на Казявкина.— Во многом не

прав он, этот самоуверенный жердина. Деньги сильны, да не всеильны. Их хорошо зарабатывать, но нельзя ради них идти на преступление... На все, как сказал Санька».

— Нет, Петр, не верю я во всеилие денег,— проговорил, наконец, Павел, не зная еще, как продолжить разговор, чем будет доказывать свою правоту. Но он знал, что не всякий богач счастливчик, как, впрочем, и не всякий бедняк несчастен, и этого было пока достаточно. Он ринулся в спор, как в детстве бросался в ледяную воду.

— Не веришь?— почти выкрикнул Казявкин, изумленно глядя на Павла.— Ну, а как насчет счастья? Скажем, на такой вопрос ты сможешь ответить: видел ли ты счастливого бедняка? Ага, замолчал?— торжествующе воскликнул он.— А в общем, заболтались мы, водка киснет,— перебил он сам себя.

Звякнули стаканы, забулькала водка, и снова надолго задымили папиросы.

Напрасно яркое весеннее солнце вовсю старалось втиснуться в их комнатушку. Оно не в силах было пробиться сквозь помутневшие, запыленные стекла и густой табачный дым. Не удавалось ему осветить эти давно не беленые стены с отскочившей кое-где штукатуркой. Сидя здесь, нельзя было угадать, какой — ясный или пасмурный — день за окном.

— Ну, так как же насчет счастливого бедняка?— прервал размышления Павла Казявкин.— Думаешь, я забыл? Деньги не всеильны, а сам-то сюда зачем прибыл? Чай, не по зову сердца?

— Разное счастье есть,— ответил Павел, не желая продолжать спор, но и не зная, как его закончить.— Твое счастье, я думаю, из золота отлито.

— Допустим.

— Уверен я, есть и счастливые бедняки, да только сейчас, на скорую руку, я тебе их представить не могу.

— Да нет их,— с воодушевлением прервал Павла Казявкин,— оттого-то и не можешь...

— Тогда ответь мне,— пошел в контратаку Павел,— приходилось тебе видеть счастливого богача? Ты, например, считаешь себя счастливым? А уж через твои-то руки денег прошло ой-ё-ёй... Тогда почему у тебя скорбное лицо, такая нервность, почему не вижу счастливой улыбки?

Клевавший до этого носом Геннадий вдруг воспрянул, громко и пьяно расхохотался.

— Ну ладно, чего орешь-то?— накинудся на него Казявкин.— Осталось тут немного,— продолжал он, приподняв

бутылку, — давайте еще по капельке да спать. Завтра работа большая предстоит.

Павел вышел из тесной задымленной комнаты, в которой потолок, казалось, давил на мозги, и тут же окунулся в мир света, простора и чистоты. Остывшее и поблекшее колесо солнца наполовину скрылось за чернеющим вдалеке лесом. Под его прощальными лучами сияло озеро, окруженное тихими сопками, по которым, как мягкие детские мячики, ползали овцы. И надо всем висело просторное деревенское небо, так не похожее на городское.

Павел представил себе задымленную, тесную, неуютную комнату, из которой только что вышел, разглагольствовавшего Казявкина, пьяного Генку, алчного Саньку, степенного, задумчивого бригадира и содрогнулся.

«Еще вчера я не знал ничего этого. Как же я попал сюда? — думал он, и недавнее прошлое так ясно предстало перед ним. — «По собственному желанию». Он еще и еще раз повторял в уме запись, сделанную в трудовой книжке, и чувство оторванности от всего наполняло его грудь.

...Он сидел на скамье и наблюдал жизнь родного города. Ворочались невдалеке башенные краны, урчали бульдозеры, проносились мимо самосвалы. Еще вчера он был маленькой частицей этого большого трудового организма, а сегодня?..

«По собственному желанию», — с безучастностью глухонемого смотрел он вокруг и привыкал к новой мысли.

Вокруг работы много. Об этом твердят радио, газеты, доска объявлений.

«Без работы не останусь, — думал он, но тут же упрекал себя: — Ведь ушел из коллектива, в котором проработал более пяти лет. Повздорил с начальником, порвал связи с напарниками, со сменщиками, с друзьями. Найду ли их в новом коллективе?»

А ведь собственного-то желанья и не было. Была глупая ссора с начальником. И вот легкая, как птичка, бумажка на его столе.

— Увольняйте, на мой век работы хватит, — крикнул Павел и не узнал своего голоса.

— Пожалуйста, — парировал начальник, занеся в воздухе руку с зажатой в ней авторучкой.

Вгорячах не подумали, что Павлу придется искать новое место, а начальнику — другого рабочего. И еще неизвестно, будет ли эта замена лучше.

Так и уволился, словно трос перерубил. Трах! И полетели концы в разные стороны...

Павел встал с крыльца, прошелся по двору, взглядываясь в потухший закат, в потемневшие сопки, в почерневший лес и, вздохнув, снова сел на крыльцо. Словно вновь на городскую тяжелую скамью опустился и услышал далекий голос:

— О чем задумался?

Он тогда обернулся на голос. Улыбающееся, довольное лицо смотрело на него. Но не было в этой улыбке ни тепла, ни холода, равнодушные сквозило в ней.

— О чем задумался? — повторил собеседник, ни на мгновение не отклеивая улыбки от губ.

— Да так... — почему-то виновато проговорил Павел.

— Так не бывает, — уверенно парировал тот. — Если уж думать, так о деньгах и женщинах...

Павел почти не знал этого человека. Просто иногда встречались у общих знакомых. Порою тот надолго исчезал из города, потом появлялся на время и снова терялся из виду. Павел не вспомнил бы его, если бы не эта ничего не выражающая улыбка.

— Уволился я, — откровенно признался он, чувствуя неприятную робость.

— Значит, о деньгах задумался, — уверенно проговорил собеседник.

— При чем тут деньги, — отмахнулся Павел.

— Деньги всегда при том... Впрочем, считай как знаешь, а только я могу тебе помочь.

— Чем? — встрепенулся Павел.

— Работу предложить хочу, — и, пристально поглядев на Павла, не отрывая взгляда от его лица, добавил: — Работа денежная. Сколько ты получал на прежней работе?

— Двести рублей...

Его кислая безразличная улыбка стала еще кислее и безразличней.

— Двести... — протянул он презрительно. — Крохи... Птички вон на полянке больше собирают, — продолжал он, метнув взгляд на двух повздоривших воробышек. — В нашей бригаде будешь получать восемьсот. Устроит? Он посмотрел в глаза Павлу, хотел увидеть в них знакомые огоньки, но ничего этого не обнаружил. Все-таки спросил:

— Ну что? Согласен?

— А чем занимается ваша бригада? — не выразил особого интереса Павел.

— Работаем по подряду...

— Шабашники, значит? — перебил его Павел.

— Называй как знаешь, — вспыхнул тот. — А деньги в кармане всегда будут.

Что-то дрогнуло в груди Павла. Еще мгновение назад думавший совсем иначе, он негромко проговорил:

— Попробовать можно...

— Вот и лады. Встретимся завтра в шесть утра на автостанции.

...И вот они здесь. Пять человек, пять судеб, пять надежд сошлись на маленьком пятачке, и каждый ждет своего. Что ждут они, что ищут? И найдут ли?

Заря застала их на крышах тепличного городка. Узкий длинный желоб соединяет крутые скаты, а если забраться на конек, то увидишь, как волнообразно напользают крыши друг на друга.

Напряженно идет Павел по желобу. Груз небольшой, работа не тяжела, но утомительна, — как по бревну через пропасть идешь. Одно неверное движение, и трещит под ногами прошлогодний целлофан, а ты летишь, беспомощно размахивая руками и хватаясь за прожилыны. Справа и слева пуста, прикрытая тонкой блестящей пленкой, изодранные лоскутья целлофана плещутся по ветру, шумят, словно листья березовой рощи.

Цепко хватаясь за прожилыны, по-кошачьи ловко взобрался на конек Казявкин.

— Давай сюда рулон, — кричит он, протягивая вниз длинные руки и, дотянувшись до рулона, тянет его к коньку.

Переступая с прожилыны на прожилыну, наверх полез и Павел. Пересиливая порывы ветра, они с Казявкиным раскачивают рулон по крыше. Но ветер чувствует здесь себя полным хозяином. Он то, как пианист по клавишам, пробежит вдоль раскатанного целлофана, то надует его, как парус, с треском вырвет конец пленки из рук Павла.

— Э-эй, крепче держать! — кричит Казявкин. И Павел, упираясь руками и коленками о прогибающуюся обрешетку крыши, спускается вниз и, плотно зажав конец целлофана в кулак, поднимается обратно, на конек.

Павел чувствует боль в коленках, все тело неприятно ноет, с непривычки кружится голова. А Казявкин только посмеивается. Под его длинным, но сухопарым телом прожилыны не прогибаются.

На противоположном скате крыши бригадир с Санькой делают то же. Оттуда доносится то перестук молотка, то шелест разворачиваемого целлофана. Генку еще с утра послали за стройматериалами.



С крыши видно, как к теплице подруливает ЗИЛ.

— Слазим, ребята! — громко командует бригадир. — Разгрузим машину, да и кончать пора. Погода нелетная.

А Генка уже деловито хлопочет у машины, проворно раскрывая борта. Раскрасневшееся лицо его весело светится. Видно, что он не только доски грузил.

— Успел-таки трахнуть, — ворчит Казявкин, недовольно глядя на Генку. — Закона не знает. У нас ведь так: что гулять, что работать — всем скопом.

К Генке подходит бригадир.

— Хороший ты парень, Гена, — говорит он с безразличной улыбкой, и в голосе ни злости, ни раздражения. — Отличный ты парень, а только запомни: профсоюзов здесь нет. Воспитывать тебя некому... Еще раз замечу и... — бригадир не досказывает угрозы, но и так ясно.

С работы возвращались не спеша. Впереди, закинув руки за спину, чуть ссутулившись, как на ходулях, вышагивал Казявкин. Рядом с ним, едва попевая, семенил Геннадий. Павел приотстал, хотелось побыть наедине со своими мыслями, отдохнуть душевно и физически. Где-то у теплицы задержался бригадир. Прикидывает, наверное, что сделано, что осталось сделать.

Впереди, окруженное еще не пахаными полями, виднелось село.

— Устал? — услышал Павел за спиной голос.

— Понимаешь? Душа не на месте, — ответил Павел, взглянув на поравнявшегося с ним бригадира.

— Ничего, привыкнешь, — успокаивающе проговорил тот. — Думаешь, я всю жизнь по деревням скитался? Я ведь тоже... — он помолчал немного, припоминая что-то, и продолжил: — На стройке работал... Был мастером, прорабом... Институт в свое время закончил. Теперь здесь... пятый год уже... И не каюсь.

— Учили, значит, дворцы строить, — начал было Павел.

— А мне по душе теплицы да кошары, — перебил его бригадир. — За это больше платят.

«Опять плата, опять деньги!» — со злостью подумал Павел, но заговорил о другом:

— И кошары, конечно, нужны, только пусть их плотники строят, а инженеры все-таки должны дворцы в небо поднимать.

— А ты ершистый, — спокойно проговорил бригадир, внимательно посмотрев на Павла. — Ну да ничего, это пройдет.

На следующий день ветер утихомирился. Павел залез на конек теплицы и замер. Куда делось вчерашнее буйство природы? Непривычный штитель завладел пространством. Поблескивали на солнце целлофановыми горбами крыши теплиц. Словно десятки длинных приземистых барачков, прижались они друг к другу боками. Поодаль застыли в неподвижности березы, на них еще не проклюнулись листочки. А дальше в молчаливый полукруг сошлись ослепительно-снежные вершины гор, к ним приклеились домики уютной деревушки. Казалось, сама земля прекратила свой бег. Остановилась она, как старинный корабль в безветрии голубого небесного океана: ни одна волна не ударит в борт, ни одно колыхание воздуха не потревожит чутких парусов.

— Натягивай! Уснул, что ли?— услышал Павел грубый голос Казявкина и вздрогнул от неожиданности.

Целлофан спокойно лежит на прожилках. Нет в нем вчерашнего строптивного характера, как ласковый щенок, трется у ног. Знай лишь натягивай пленку да постукивай молоточком. Так и делали. Павел натягивал целлофан, а Казявкин, по-кошачьи подбираясь к нему, прикреплял целлофан к прожилкам. Не работа, а игрушка. Но подается она медленно, и кажущаяся простота ее обманчива. Недаром бригадир утром, кивнув им, бросил на ходу:

— Продолжайте пока, я сейчас вернусь,— и, поймав попутку, умчался на центральную усадьбу.

Проходили час, другой, третий. Переползая с прожилки на прожилку, Павел натягивал целлофан, до дрожи в коленках тянул его на себя, ждал, пока Казявкин прикрепит его.

Вернулся бригадир только после обеда.

— Значит, так,— проговорил он.— Казявкин и Саня останетесь здесь. Доканчивайте эту крышу и баста. Другую не начинайте. А Павел с Геннадием пойдут со мной. Эта работа для дураков. Шутка ли, тридцатка в день на рыло, когда нам минимум полста надо. На другой объект переезжаем. Сейчас подойдет трактор, на нем и перевозимся. Жить будем в телятнике.

Неторопливо поцокивая двигателем, как человек тачку, толкает Т-16 перед собой небольшой кузовок. В кузовок побросали инструмент и постельные принадлежности.

В кузове сидят Павел с бригадиром, а перед ними покачивается полное лицо трактористки Вали, задумчиво-суровое. Ее руки небрежно держат баранку трактора.

— Все шабашничаешь? — прервала, наконец, молчание Валя, остановив взгляд на бригадире.

Тот лишь привычно улыбнулся. Но не такова Валя, чтобы от нее можно было отгородиться таким примитивным способом.

— Не ты мой муж, — продолжала она с каким-то непонятным напряжением в голосе. — Я бы заставила тебя жить по-человечески.

— Я деньги домой ношу... — начал было бригадир, но Валя тут же перебила его:

— Деньги, деньги, — презрительно скривилась она. — На черта мне деньги, если мужа в глаза не вижу. — Немного помолчав, уже спокойным голосом продолжила: — Деньги хороши, когда в жизни все путем, а если нет, то деньги — клам.

— Скажи честно, с мужем сегодня поругалась? — спросил бригадир, по-видимому, желая изменить тему разговора.

— Не ругалась я ни с кем, — устало отмахнулась Валя, — а только смотреть противно на вас.

Бригадир ремонтировал дверь, а Павел с Генкой таскали койки, устанавливали их в новом жилище.

Нештукатуренные, давным-давно побеленные бревна стен были почти черными. На полу то здесь, то там сквозили дыры, из них слышалась мышиная возня.

«И в этой-то берлоге придется дни убивать», — подумал Павел. Вспомнились ему светлая, уютная квартира в городе, телевизор, жена. — «Скучает, наверно». — Он чувствовал себя лыжником, мчавшимся с высокой горы и пока она не кончится, нельзя ему ни свернуть с лыжни, ни повернуть обратно.

— Плохо, электролампочек нет, — перебил размышления Павла бригадир. — А, впрочем, свет нам и не нужен. Дотемна поработаем, ночь переспим, а там снова за дело...

— Как кони, — вырвалось у Павла. — Отработал и в стойло.

— Ничего, бывало и хуже, — успокоил его бригадир и вышел.

Генка вздохнул и, бросив на койку свернутый рулоном матрац, тяжело опустился рядом с ним.

— Заболел я, — тихо проговорил он.

— С похмелья? — улыбнулся Павел.

— Да нет, я серьезно. Тут что-то покалывает, — коснулся ладонью груди.

— В больницу иди.

— В больницу, — недовольно протянул Генка, взглянув на Павла. — А кто бюллетень платить будет?

— Да, бюллетеней здесь не оплачивают.

— А раньше-то как бывало, на производстве, — мечтательно проговорил Генка. — Слег однажды, и помощь профсоюз выделил целых сто рублей, а чуть на ноги поднялся — путевка бесплатная на курорт... — Он тяжело вздохнул и продолжил: — Обидел я их, ох, как обидел... Нет, уйду я, уйду отсюда.

— И правильно сделаешь, — поддержал Павел.

— Ну, покурили? — раздался бодрый голос бригадира. — После обеда всей бригадой перейдем на бетонные работы. К вечеру нужно закончить, потому что сегодня получка. Сделаем небольшой сабантуй. Завтра отдохнем, а там снова за дело... Деньги надо делать, Деньги! — весело закончил он. — По тыще рубчиков отхватили, это вам не шутка. А дальше еще больше будет.

...Еще не проснувшись, Павел отчетливо слышал чей-то отчаянный храп вперебой со свистом. Звуки эти все упорнее стучались в сознание, вторгались в сон, вытягивая Павла оттуда в явь. Но не отдохнувший организм сопротивлялся, хотелось спать, спать, спать...

Вот храп и присвистывание смешались с сопением, громким покашливанием. Рядом заскрипели ржавые, ослабевшие пружины кровати. И чей-то хриплый голос проговорил:

— Эй, кто здесь есть?

И снова кашель, теперь уже нудный, сухой.

— Ч-черт... Куда сигареты запропастились... Павел! Санька!

Павел слышал, но притворился спящим. Он редко выпивал, но и от компаний не отказывался. Вот и вчера — тоже. Он хорошо помнил пьяные голоса, бравурные речи. Особенно старался Санька. Он бил себя в грудь кулаком и кричал: «Да я... Да на меня можно положиться».

Кашель, ворчание и снова громкий, раздраженный голос Казявкина:

— Павел! Санька!

Павел поднял голову и в полумраке увидел Казявкина, неподвижно лежащего под одеялом.

— Санька, друг, кинь папиросы, — Казявкин сбросил одеяло и сел на койке. — Санька! — крикнул он и, обернувшись в сторону Санькиной койки, умолк — койка была пуста.

— Где же Санька-то?— негромко, как бы раздумывая, проговорил он и вдруг, судорожно схватив с пола брюки, быстро начал их ощупывать.— Деньги, деньги, деньги...— шепотом повторял он, продолжая трясти брюки. Пальцы его дрожали, глаза бессмысленно блуждали по стенам — как у сумасшедшего.

И вдруг Казявкин захохотал. Смеялся он долго, заливаясь, пискливо. Но вот с остервенением бросил брюки, вскочил с койки, нервным, быстрым движением запустил подушкой в окно. Тут же полетели на пол одеяло, матрац, он пробежался по комнате, пиная и отбрасывая что ни попадет; зашелестели по полу окурки, полетели со стола бутылки, оберточная бумага.

— Все,— выдохнул он, наконец, тяжело опускаясь на голую сетку. Койка жалобно взвизгнула и затихла. Безвольно опустив руки, ссутулившись и разом постарев, затих и Казявкин.

— Санька смылся, деньги украл,— устало проговорил он и, упав на сетку вниз лицом, заплакал.

— Перестань, батя. Ты что?— успокаивал его Павел.— Мы деньги делаем, а не деньги нас. Не твои ли это слова? Но старик не отвечал. Спина его тряслась. Потом сел на койку и долго молча смотрел в пол.

— Не-ет,— проговорил, наконец.— Эту поговорку надо изменить: мы делаем деньги, а деньги делают нас.

Он еще немного помолчал, постепенно успокаиваясь.

— А, ладно,— проговорил, махнув рукой.— Были деньги, нет денег — какая разница?

Он заглянул под койку, проворно сунул туда руку. Застучали, зазвенели пустые бутылки.

Казявкин тяжело вздохнул:

— Все выжрали... Вот так и получается, живем одним днем, о завтрашнем ни капельки не думаем... Жизнь ты моя пропащая,— продолжал он, немного помолчав.— Сгорела, как спичка в темную ночь. Кто-то, чиркнул ею о коробок, поддержал, и потухла она, сгорела. Сгорела жизнь. А ведь было все как у нормальных людей. Работал по восемь часов, после работы к жене, к сынишкам спешил... Встретился с шабашником, поманил он меня длинным рублем: поехали, говорит, вернешься на собственном вертолете. И верно, деньги были, а жизни-то нет... Жена не отпускала, плакала, уговаривала. Так нет, на своем настоял. Что ты, я ведь мужчина! Герой! Год езжу, второй. А на третий вернулся с шабашки, она и дверь не открыла. Была любовь, да вся сгорела. Все они, бабы,

такие... Любят, пока рядом. А муж за порог, любовник в горенку.

— Ну, ты полегче! — неожиданно вырвалось у Павла.

— А что полегче-то, — вскинулся Казявкин, зло взглянув на Павла, будто он был виноват во всех его несчастьях. — Что полегче? Думаешь, твоя там ангелочком живет?

— Перестань, говорю! — вскипел Павел, а сердце тревожно забилося. Почти выбежал из избы. Ему казалось, побудь он еще хоть миг под этим низким потолком и — задохнется.

Улица плеснула в лицо красной зарей. Нерешительно пропел петух, по-видимому, решив, что его не все слышат, пропел еще раз, погромче, позадорней. Невдалеке прогремел трактор, процокал копытами конь. Новый день занимался над землей.

«Ах он, черт, — подумал Павел, вспоминая слова Казявкина. — Ишь? «Все одинаковы». Был бы ты помоложе...»

Вышел Казявкин. Одет он был по-походному. В кирзовых сапогах, в штормовке, с рюкзаком за плечами.

— Уезжаю, — сказал он, щурясь на показавшееся из-за сопки солнце. — Дело к старости... К своему углу прибавиться надо. — Помолчав, посмотрел куда-то в сторону и закончил: — Может, наговорил что лишнего, так извиняй. Сгоряча это. Бригадиру передай: не вернусь.

Его длинная фигура, несуразно раскачиваясь, медленно удалялась.

Старик ушел, а голос его остался. Негромкий, но уверенный, он вернул Павла к действительности.

«Ты думаешь, твоя лучше?»

«Лучше... лучше... лучше?» — эхом раздавались в его душе слова старика. Павел не находил себе места. В избе тесно и душно, на улице пустынно. Он не хотел оставаться один и в то же время не мог видеть людей. Да и кого ему было видеть? Друзей нет. Их бригада держалась на одном слове — «деньги». Но деньги получены, и лопнули связующие нити. Распалась бригада.

— О чем задумался? — знакомый голос вывел Павла из задумчивости.

— Домой бы надо съездить, — ответил Павел.

— Что ж, надо так надо. Три дня хватит?

— Может быть, — поспешно проговорил Павел и побежал собирать вещи.

Автобуса ждать не стал, сел на первую попутку, и полетели навстречу широкие зеленые поля, перелески.

Молодое, веселое лицо шофера улыбалось, руки легко держали руль. Его быстрый искристый взгляд то падал на дорогу, то сквозил по придорожным деревьям, то обращался к Павлу. Он словно не работал, а играл в какую-то увлекательную игру. Вспомнил Павел: и у него бывали подобные мгновения, когда он, слившись воедино с экскаватором, будто парил в воздухе. И позавидовал шоферу.

— Любишь свою работу?— спросил.

— А ты свою не любишь, что ли?— искренне удивился шофер.

— Да, как сказать...— Павел умолк, не договорив. Парень внимательно посмотрел на него и, не дождавшись ответа, снова перевел взгляд на дорогу.

— Где ты работаешь-то?— спросил.

— В совхозе... По подряду,— неохотно ответил Павел и тут же заметил, как потускнело лицо шофера.

— А-а...— протянул он.— Говорят, деньгу в обе лапы хапаете.

— Как когда...

— Есть у нас тут делец один,— проговорил шофер,— по барахолкам шастает. На широкую ногу живет. Скучно живет — не завидую его богатству. Мне прежде дело дай для души, а уж деньги потом.

Приехали. Павел нащупал в кармане трешку, протянул шоферу. Тот грубо оттолкнул его руку:

— Себе оставь... на похмелку.

Домой дорога всегда легкая. Но сегодня Павел подходил к родному порогу с непонятным чувством. Радость встречи смешалась с тревогой. Разговоры с Казявкиным вконец умали его. Снова и снова видел злобное лицо старика, слышал его скрипучий голос: «А твоя, думаешь, лучше?»

Неясные уличные фонари высвечивали длинный ряд пятиэтажных коробок. И чем ближе подходил он к дому, тем тревожнее становилось на душе. Павел подошел к самому окну и всмотрелся в глубь кухни. Там, у плиты, стояла жена и что-то помешивала в большой зеленой кастрюле. Вот она зачерпнула из нее ложкой, подняла ее над кастрюлей, и полилось из ложки красное, парящее, искрящееся варенье. Павел жадно вдыхал его аромат. Не в силах оторваться от окна, все смотрел и смотрел в окно и улыбался своим мыслям.

В один миг промелькнули уверенное лицо бригадира, алчно горящие глаза Саньки, плаксивая физиономия Казяв-

кина и неуверенная фигура Геннадия. Увидел и продымленную, закопченную развалюху с низким, облупленным потолком. Услышал далекие, потусторонние голоса шабашников и сейчас только понял, что отрешился от всего этого навсегда.

Чувствовал, как чем-то новым, светлым и теплым, наполняется все его существо...



Куулар ЧЕРЛИГ-00.1

## КУДУРУК

В один из прекрасных дней ранней весны Ай-кыс с матерью приехали погостить к бабушке в Манчурек. Трехлетняя городская малышка глядела широко распахнутыми глазами: все ново было ей на зимней стоянке чабанов.

По утрам сосульки сверкающими саблями свисали со скал. Невдалеке на темных елях весело резвились белки, только и слышалось: «хыр-р, хыр-р». А за юртой, на скалах, крепкими копытцами выбивали барабанную дробь козлята. Близкая природа, ее незнакомые звуки загадывали малышке все новые и новые загадки. И когда мать доила овечек, она осыпала ее вопросами: «А почему?.. А почему?! А почему?!»

«Что вечно пристаешь к людям, поиграла бы с нами», — и козлята губами хватали подол ее платышка. «Мама-а!» — орала Ай-кыс, но через минуту-другую уже громко смеялась.

— Ай-кыска, поди-ка сюда, поддержи козленка, а я по дою их маму, — позвали девочку.

Вчера Ай-кыс слышала, как жалобно блеяла коза в кошаре; потом при девочке сказали, что на свет появилась двойня от той козы. Ай-кыс сперва испугалась, потом ей стало жаль козу-маму. А когда увидела, как та вылизывала мокрую шерстку на спинах близнецов, узнала новое чувство — брезгливость. И вот прошла всего одна ночь, козлята уже крепко стоят на ногах и тонкими голосками зовут: «Маа-а!» — кричат: «Мама!»

— Мои маленькие! — приласкала их Ай-кыска.

Одного из козлят ангорка к себе не подпускала.

— Не надо было вам трогать козленка: брезгует. Городом пахнет от ваших рук, вот она и не подпускает его. Натри-ка ему теперь хвостик солью, дочка, и спой «чучуу», — сказала бабушка.

Мать Ай-кыски принесла чай с солью, помочила им хвостик козленка и затынула песенку «чучуу», которую поют в таких случаях. Ай-кыска весело рассмеялась:

— Хвостик — это кудурук, что ли? — спросила она. — Его кудурук какой-то смешной, черный.

— Да, хвостик — это кудурук, — подтвердила мать. Коза вылизала соленый хвостик детеныша, протяжная мелодия «чучуу» успокоила ее. Она подпустила к себе козленка, которого только что бодала. Козленок припал мордочкой к вымени матери, его торчащий хвостик блаженно мелькал в воздухе. Ай-кыска прикоснулась к хвосту, смешливо произнесла: «Кудурук».

Бабушка улыбнулась, услышав из уст внучки слово на родном языке. Все, кто наблюдал за сценкой, засмеялись. Ай-кыске приятно слышать веселый смех взрослых, и она повторяет громко: «Кудурук, кудурук!»

— Хвостик-то у него черный, а сам белый, — сказала, наконец, девочка. Действительно, у белого козленка был черным только кончик хвостика.

Дней через десять я приехал за женой и дочерью на зимнее стойбище. Они обе, с загорелыми от весенних ветров лицами, были заняты вечной заботой чабанов — кормили козлят и ягнят.

— Вот смотри, папа, Кудурук, — показав на козленка, на ломаном родном языке сказала дочь.

— Но кто же хвостик ему помазал угольком? — как бы невзначай спросил я.

— Ты что! Он правдашний, смотри получше. Хвостик-то у него черный, поэтому зовут его Кудурук, — объяснила Ай-кыска.

— Давайте, кудуруки-хвостики, поторапливайтесь. У шопера времени в обрез.

Как ни спешили, отказаться от традиционного угощения не могли. За чашкой горячего чая и нехитрыми яствами неторопливо, словно сонный Манчурек подо льдом, шел разговор о житье-бытье.

Когда все расселись в машине, Ай-кыска по очереди взглянула на каждого из нас озорными глазами и напомнила: «А Кудурук».

— Не хочет она расставаться с козленком, — догадалась

теща и забеспокоилась: — Как же вы его вырастите в многоэтажном доме?

— Из соски будем кормить, — поддержал я дочку.

— В городах многие собак держат. А козлята, они быстро приучаются. Вы растите, и готовое мясо будет у вас, — весело подмигнул тесть.

— Дорога длинная, я вам для Кудурука молока припасу, — заторопилась в юрту теща.

Приехали в Кызыл. Пока поднимались с козленком на четвертый этаж, ребяшня не отставала.

— Ме-кээ! — дразнят многие. И смеются. Городские дети, возможно, в первый раз видели живого козленка.

— Кудрявый како-ой! Это ангорская, да?

— Да, ангорка.

— Миленькая, как наша Чара-Чара!

— Смотрите, только хвостик черный, вот здорово!

— За это его и зовут Кудурук. Кудурук — значит, хвостик, — объяснила ребятам Ай-кыска.

— Хвостик, хвостик — Кудурук! — повторяли ребята и громко смеялись.

В свое время Ай-кыска очень завидовала хозяйке Чары-Чары. Это была домашняя собачонка дочери нашего соседа. Чара-Чара была покрыта длинной кудрявой, словно ангорка, шерстью — глаз не видно! Сейчас нашей дочке не было дела до Чары-Чары.

— Проголодался, наверное, наш козлятушка, надо напоить молоком из соски. Я буду кормить...

У Ай-кыски прибавилось новых забот. Только вот старшие сестра и брат ее морщили нос при виде помета.

— Ай-кыска, сама убери! — услышав такое, она брала в руки веник и пластмассовую лопатку. Сметала помет в лопатку, уносила в мусорное ведро.

А Кудурук рос день ото дня. Вскоре появились и стали заметными рожки. Высосав молоко из бутылки, он громко чихал. Подняв торчком хвостик, вспрыгивал на диван.

Природой созданный прыгать с камня на камень на горных кручах, однажды он, соскакивая со стола, разбил хрустальную вазу.

— Любой скот ведь должен привязь иметь. Почему не приучаете Кудурука к привязи? Как сядешь с детьми за телевизор, все на свете забываешь, — укоряет меня жена. Молчу, будто в рот воды набрал.

Была у меня привычка: стоя перед экраном телевизора, шевелить пальцами рук за спиной. Это увидел Кудурук. По-

думал, что я затеял очередную игру, и как боднул меня! Аж искры посыпались из глаз. В голове сплошной гул. Семья смеется, лишь мне одному не до смеха.

— Рога, что ли, у Кудурука чешутся? — пробурчал я под нос.

— И поделом тебе, а то от телевизора не оторвешь, — хочет жена. Я невольно засмеялся. Пришлось с тех пор Кудурука привязывать в темной комнатке. Чем взрослее козлик, тем забот с ним больше. Когда был маленьким, дочка сама справлялась. Скажешь ей: «А ну-ка, Ай-кыска-чабанка, уведи своего Кудурука!» — она мигом утащит козленка в темнушку. Сейчас он вырос и совсем отбился от рук. Выводили его на прогулку, купали в ванне, ходили за комбикормом на рынок — хлопот, как говорится, полон рот. Соседи закрепили за ним прозвище Дурачок. Иногда мы его выпускали на волю, на лестничную клетку, так он вихрем носился по ступенькам. Возможно, грезилась ему родная стихия — горные кручи. Бывает, увидит по телевизору коз и зовет их: «Ме-кээ!» Конечно, трудно держать в неволе такое животное. Щипал бы он спокойно траву на пастбище, пил бы родниковую воду...

Женщины нашего подъезда, в недавнем прошлом видевшие в Кудуруке не козленка, а источник «неприятного запаха и постоянного шума», позабыв о своих первых впечатлениях, ласкали и кормили его с рук. Кудурук охотно поедал и булочку, и овсянку, стоял смиренно, не шевелясь, когда ласкали его чужие руки, и с фырканьем носился по ступенькам, стуча копытцами.

Как-то я вырезал из журнала «Здоровье» статью «Смех лечит» и прикрепил на двери. Мой сосед, проходя мимо, язвительно бросил: «Что, сосед, хочешь козлом людей рассмешить и деньги заработать на нем?»

— Не туда гнешь, Иннокентий Павлович. Хотя, вообще-то, есть и такие люди. Вот послушай. В прошлом году отдыхал я на Северном Кавказе... Там в горах люди — как только в тесноте живут! Был я у карачаевца. У них почти каждая семья держит по четыре-пять коз. Зимой и летом они, бедные, в загоне. На волю не выпустишь, кругом курортная зона. Только вот у них козлов мало, редко кто их держит. Природой козе положено приплод давать, а козлов раз-два и обчелся. У нас, тувинцев, этот вопрос решается просто: животные сами разбираются что к чему. А там, на Кавказе, все решают деньги. Если очередь большая, составляют список. «Такса» на козла — два рубля за сутки. Без смеха говорю,

Иннокентий. А за лето один козел запросто справляется с тремя коз...

— Ничего не поделаешь. Продовольственную программу надо выполнять,— рассмеялся сосед.

Раз мы с Кудуруком прогуливались по берегу Енисея, набежала чья-то мохнатая собачонка и залаяла. Козел повернулся — и на нее: «Ах ты, мосьска!» — и молниеносно боднул собачонку. Когда поднял голову, собачонка уже висела на рогах: запуталась в них длинной шерстью. Хозяйка собачонки, маленькая девочка, увидев такое, заплакала навзрыд. Откуда-то прибежала мать девочки и на нас:

— Такого зверя держите! Найдем на вас управу!

— Надо еще разобраться, кто из них зверь?

Мохнатую, как Чара-Чара, собачонку, висевшую на его рогах, Кудурук аккуратно опустил на землю. «Зачем подняли сыр-бор? Мосьска ведь давно умолкла», — словно хотел сказать он и подошел к нам. В подтверждение этого собачонка высунула язычок, а глаза ее из-под длинной шерсти, казалось, смеялись.

Увидев такое, невольно засмеялись и мы.

— Посмотрите, они подружились! — без тени злобы, словно и не было между нами стычки, весело сказала старшая хозяйка собачонки.

Осенью Кудурук стал зрелым козлом. С подбородка у него висела настоящая борода, рога изогнулись и доставали спину. В своей маленькой комнатушке-загоне он казался каким-то сказочным животным. В семье, кроме меня, уже никто не справлялся с Кудуруком. Ребятишки и вовсе не подходили к нему: чуть что, он сразу рога выставляет, копытами о пол стучит.

«Да, если сегодня-завтра его не порешить, как советовал тесть, бед не оберешься», — подумал я, когда зашел к нам дед Самбуу.

— В самое время зашел, дед. Козлятина, говорят, вкусное мясо. Помоги его заколоть, разделать, пока дети не пришли, — обрадовался я приходу Самбуу.

— У-у, каким здоровым стал! Мы вдвоем с ним и не справимся. Нет, на такого красавца у меня рука не подыметсЯ, — категорически отказался он.

— Какой там красавец! Разве не чувствуешь, какой из-за него в квартире дух! И соседи уже жаловались в горисполком. Требуют, чтоб меня выселили. Да и жена заявила, что уйдет с детьми насовсем, а ты, дескать, живи со своим козлом.

— Верно, запах-то неприятный...

— Что-нибудь посоветуй, а, дед?

— Какой из меня советчик!.. Слышал я, приехал Бавын-оол из Красноярска. Собирается в район за козлятами для цирка. Вот и продай ему козла. Может, станет циркачом...

— Где он?— обрадовался я.

— В филармонии, наверное.

Я мигом очутился в филармонии. За столом беседовали народный артист Тувинской АССР Кужугет Хензиг-оол и еще несколько человек. Без передышки выпалил все о своих бедах с козлом.

— Говорят, на ловца и зверь бежит. Посмотрим-ка, что за козел у него,— обрадовался Оюн Бавын-оол.

...Я включил свет в темной комнатухе. Кудурук посмотрел на нас безо всякого интереса. «Когда был я маленьким, наигрались вы со мной. Как вырос, даже запаха моего не выносите, заперли в темнице»,— говорил его вид. На стене виднелись следы от его рогов-сабель. Свесив длинную бороду, козел спокойно жевал комбикорм.

— Оо! Хвост торчком, рога-то какие, это, наверное, помесь с козерогом. Красавец! Отвяжите его и позовите с кухни. В нашем деле главное, чтоб животные на слова реагировали,— велел гость.

Я отвязал козла и позвал его с кухни:

— Кудурук! Кудурук!

Дверь комнаты с треском отворилась от удара его рогов. Кудурук смело шагнул ко мне и стал пить молоко из чашечки.

— Для первого раза совсем неплохо.

— Это еще что!— говорю я.— Он и не такое умеет.

— Значит, будет циркачом, поработаем с ним. Не будет сидеть взаперти. Фигура у него станет, словно у настоящего козерога. На арену вместе с тиграми будет выходить. Стокгольм, Токио, Дели, Париж — вот где его увидят!

Когда артисты повесили на дверь комнатухи афишу с ярко красочными козерогами, появилась жена с детьми.

— Присаживайтесь, присаживайтесь, башкы. Я чайку приготовлю,— и жена скрылась в кухне. Кужугет Балганович когда-то ведь учил и ее.

— Большой торг идет. Зять-то ведь козла своего менее, чем за тыщу, не отдает,— шутит Балганович.

— Так ведь вы — настоящие гости! А гостям скот не продают. Подарим вам этого невыносимого козла.

— Не поддавайся,— подмигиваю я жене.

Бавын-оол вел прямо-таки дипломатические переговоры, на тувинском и русском языках, с главной хозяйкой Кудурука. Кажется, стороны были удовлетворены исходом переговоров.

По правде говоря, нам было грустно расставаться с Кудуруком. По обычаю скотоводов я вырвал несколько волосков из бороды козла. Когда его грузили на машину, Кудурук, как бы на прощанье, заблеял: «Ме-ке-э!».

Отсутствие ангорки как-то сказалось на ритме повседневной жизни семьи, и вскоре мы приобрели мохнатую собачонку. Ай-кыска со временем стала забывать Кудурука.

Через год из Стокгольма пришло письмо от Бавын-оола: «Дорогая семья Кууларов! Ваш Кудурук за цирковые трюки удостоен специальной медали от члена-корреспондента Шведской академии наук господина Вильяма Хайнесена. Как мы поняли через переводчиков, он пишет научную работу о козлах. Эта медаль на шее Кудурука — новая страница успехов советского цирка. На обороте медали выгравировано: «Потомку козерога, тувинскому козлу — от доктора Хайнесена». Козероги ведь частенько пасутся с козами вместе в заоблачных вершинах. Кудурук оказался действительно потомком козерога. Это определил доктор Хайнесен.

С девятого мая наш цирк гастролирует в Новосибирске. Приезжайте вместе с Ай-кысочкой, посмотрите цирковые трюки Кудурука».

Бавын-оол вложил в конверт и фотографии козла. Дети от радости хлопали в ладоши, вырывали друг у друга из рук снимки Кудурука.

Действительно, козерогом стал наш Кудурук! На вершине скалы гордо красовалась его фигура. Напротив, с оскаленными лапами, готовые к прыжку тигры. На втором снимке Кудурук перепрыгивал через тигров и пробегал по горящему веревочному мостику над пропастью.

— Вот это да! Смотрите, дети, кем стал наш Кудурук! Десятки, а может, сотни тысяч людей восхищаются его трюками. До Новосибирска рукой подать, летаем, дети, посмотрим, чему научился наш Кудурук.

— Ура-а! Ура-а! Кудурук! Ура-а!

Цирк в Новосибирске — одно из красивейших сооружений города. Бавын-оол провел нас и посадил на третий ряд. Дочери Долаана и Ай-кыс, впервые попавшие в цирк, не находили слов от восхищения. Зазвучали фанфары.

На арену вылетели кубанские казаки на своих скакунах. После них появились осетины, стали показывать мастерство

джигитовки. Чего только они не проделывали на полном скаку лошадей: откинувшись назад, свисали на стремянах, переползали под их животами — дух захватывало!

Представление продолжил король тигров Филатов. Полосатые хищники прыгали через горящие кольца, заправски ездили на слонах. Было чему удивляться и от чего хохотать!

Затем, словно волны Улуг-Хема, спокойно разлилась тувинская мелодия. И вот под облаками, на вершине искусственной скалы, появился наш Кудурук.

Козерог положил рога на спину и преспокойно жевал. К нему подкрадывался тигр. Только хищник напряжился, готовясь к прыжку, как козерог перескочил пропасть и оказался на той стороне. Появилась плетеная веревочная лесенка над пропастью. Когда козла атаковал второй тигр, он по веревочной лесенке перебежал на прежнее место. Веврочная лесенка сгорела, а тут и тигры появились, Кудурук не растерялся, перепрыгнул через горящую лесенку. Между искусственными скалами нагромоздили больше десяти табуреток, и Кудурук ведь залез на них! Наш Кудурук выделял такое, что в сравнении с ним тигры казались неуклюжими.

После представления Бавын-оол снова встретился с нами. На прощанье поднес мне коробку.

— Что это?

— Здесь кинолента, снятая о Кудуруке. Покажешь кинофильм друзьям, хозяевам козерога, чабанам Манчурека.

— До свидания, Кудурук!

— До свидания, Бавын-оол!..



*Борис КАМАЛИЕВ*

## ТРУДЫ И ГОДЫ

*(Из автобиографической повести)*

Я хочу рассказать молодежи о своем детстве и юности. О том, как в трудные военные годы мы, подростки 13-14 лет, росли и крепили, помогали родителям, в честном труде искали источники существования. И как все это пригодилось потом, в самостоятельной жизни и работе.

Я — рабочий комбината «Туваасбест». В Ак-Довураке меня знают как рационализатора производства. С детских лет пробудилась во мне любовь к технике, тяга к изобретатель-



ству, она помогала мне жить интересно, полнокровно, не зная скуки и душевной пустоты.

Не все было гладко в моей жизни. Но любовь к труду, к жизни и людям помогала одолевать трудности. И прожитыми годами, пройденным путем я доволен.

...Детство мое прошло в южном городе Баку. По рассказу отца, мы туда переехали в 1932 году из города Мурманска.

Почему на такое расстояние, с севера на юг? У отца была цинга, врачи посоветовали ему сменить климат. В Баку отец стал работать в Ботаническом саду механиком, а мать — поваром. В семье, кроме меня была и сестренка, на два года моложе. Квартиру нам дали прямо на территории Ботанического сада — кругом зелень, как в сказке. Оранжереи громадные, много теплиц...

На Новый год в Ботаническом саду наряжали для детей сотрудников огромную живую ель. Помню, как пришел я однажды на такую елку, и вдруг мне Дед Мороз дает в подарок большую коробку. Что там внутри? Конструктор! Радости не было предела. Стал я собирать разные машины, трактора, подъемный кран. Хорошо! Одно было жалко: что они не двигались, не действовали.

С километр от нас был планерный аэродром, где юноши, будущие пилоты, учились планировать. Там было много планеров: одноместные, двух- и трехместные.

И вот в хорошую погоду ребята и девочки их вытаскивают и ставят на горку. Сзади у планера — наподобие крючка тормоз, он тросиком связан с кабиной. А впереди, в носовой части, еще крючок, для натягивания планера. К нему кольцом цепляется резиновый жгут. На одном его конце три человека, на другом тоже трое, и под углом они тянут этот жгут от планера на расстояние метров сорок, тянут дружно и слаженно. Когда натянут до предела, планерист по команде отпускает тормоз. Планер взлетает, на лету кольцо освобождается от крючка. И он летит, куда ему прикажет планерист. Замечательное зрелище! Через 20—30 минут ему дают команду на посадку. И вот он делает круг и начинает спускаться плавно, красиво. Садится на площадку, к нему бегут, все поздравляют планериста. И потом летит следующий.

Всю эту картину я наблюдал в течение года. На следующий год я уже был кое с кем знаком, мне, если не было командира, позволяли даже за планер подержаться и толкать его, и тянуть резиновый жгут. Примерно через месяц я осме-

лился попросить одного доброго планериста, чтобы он взял меня с собой, хоть минут на десять. Он так внимательно посмотрел на меня и говорит:

— Не побоишься?

Я сказал, что нет, даже во сне и то летаю.

Командира в тот день не было, ребята действовали самостоятельно, и, в общем, на старт мы поднялись. Планер был двухместный, я сидел сзади, был пристегнут ремнем для страховки, да еще и в корпус вцепился ручонками. Планерист оглянулся, что, говорит, плохо? Я еле выдавил: хорошо.

— А почему побледнел?

Я говорю: от ветра. Но не знаю, что было бы, если б он не запел ободряющую песню. Я потихоньку успокоился, но вниз глядеть боюсь, просто смотрю ему в спину и удивляюсь его мужеству. Он мне сказал, что делаем последний круг. Я немного осмелел, глянул вниз — и у меня закружилась голова. Очнулся я, когда коснулись посадочной площадки. Подбежали к нам, а мне стыдно глядеть на них. Они с вопросами: «Ну как, пилот, дела?» Все было видно без ответа.

— Проводить тебя домой или сам дойдешь?

Я сказал, что сам, и пошел домой. Дома прилег, успокоился. Вечером уже играл, когда вижу, идет мой планерист. Подозвал меня и говорит:

— Как дела? Давай присядем.

Сели на траву. Он говорит:

— Ты больше не приходи туда. Тебе летать нельзя, сердце у тебя неважное. Еще раз так напугаешься — и конец тебе.

Я дал слово, что не приду. И мы, как друзья, распрощались.

Наши окна смотрели в сторону планерного аэродрома. Дней через несколько отец поглядел случайно в окно:

— Смотри, сынок, твои птицы сегодня тоже летают!

Я посмотрел и сказал отцу, что больше туда не пойду. Он удивился: «Почему? Что-нибудь случилось?» Я ответил, что ничего не случилось, просто начальник запретил ходить посторонним.

Думаю теперь, что отец догадался о настоящей причине, только не стал меня ругать за вранье. Потому что через несколько дней он мне заявил:

— С завтрашнего дня ты пойдешь со мной на работу. Я для тебя уже начал готовить кое-что, будешь помогать и получишь личную машину на четырех колесах и с сигналом.

Я своим ушам не поверил:

— Правда? И я сам буду ездить?

— Завтра пойдем и посмотришь. Дня два придется повозиться.

Я не мог дожидаться утра. Два раза вставал ночью, все мне казалось, просплю. Утром приходим в мастерские: вот, отец показывает, рама деревянная, сиденье не готово, это сегодня сделаем. Вот колесо, вот ось, вот педали, обтянем кузовок фанерой, поставим фары, баранку, покрасим и ездим на здоровье. А пока помогай плотнику обтягивать кузов, поддержи, где скажет.

Эти два дня пролетели так быстро, что я, за работой и увлечением, даже не заметил. За ночь краска обсохла. Настал день испытания. От мастерской до дому метров четыреста. Я еду, все на меня смотрят. Выскочила детвора — а у нас в Ботаническом саду, как назло, ребятишки все маленькие, ни одного мальчишки моих лет, только одна девчонка старше, — облепила мою машину, вопросы сыплются градом, не успеваю отвечать. А эта девчонка, старше меня, Маша, говорит то ли с насмешкой, то ли всерьез:

— Боря, а какая у нее скорость?

Я отвечаю тоже серьезно, как мне тогда показалось:

— А скорость у нее, как будешь ногами работать: можешь тише, можешь быстрее.

Тут все немного посмеялись.

Всей оравой мы пошли на ровную асфальтированную площадку, по очереди стали кататься. Я, конечно, был как инструктор и командовал парадом. Стали детей звать домой на обед — никто уходить не хочет. Решили и обедать по очереди, группами. Когда меня самого домой позвали, я пошел и одному мальчонке, постарше других, как помощнику поручил, чтобы он наблюдал и все было без ЧП. Но не успел и тарелку супа съесть, как вбегает мой помощник и с порога кричит:

— Борис, авария, переднее колесо отвалилось!

Бегом туда. Детвора стоит и затылки чешет. Оказывается, ничего сложного: отвернулась гайка с передней оси. Вставили на место, гайку завернули. Саша, мальчик лет девяти, говорит:

— Теперь моя очередь, я гайку нашел.

— Садись, — говорю, — раз нашел.

Не его была очередь кататься, но никто не возражал. Потому что, если бы гайка утерялась, пришлось бы бежать в мастерскую.

Катались до вечера, стали подходить родители с работы, окружили нас:

— Что это, у вас техника появилась? Хорошо, — и сами все такие довольные. Отец мой подошел, узнал, что мы с самого утра катаемся, подсчитал с товарищем — получилось, 54 километра в целом проехали! Солидно. Посмотрел: подшипники не нагрелись? Все в порядке, но тут он мне объяснил, что техника любит ласку и смазку, надо смазывать подшипники, задние и передние, педали и, конечно, рулевое управление, втулку, вот тут и тут, ежедневно. Тот Саша, что гайку нашел, моментально принес из дому масленку с машинным маслом, и мы ее прикрепили проволокой к деревянной раме машины.

Потом мы сами из всяких отходов и обрезков сделали пристройку к нашему сараю, чтобы туда ставить машину на ночь. Вкопали четыре столбика, кто обивает досками новую стенку, кто опиливает лишние концы. Дружно работали. Внутри ещё полочку сделали. Хорошо получилось!

Ботанический сад на окраине города Баку, до школы, где я учился, километров шесть. Столько же и до кинотеатра. Поэтому в кино мы ходили редко. Однажды школьный товарищ пригласил меня к себе домой кино посмотреть. Пришли, окна занавешены, а его старший брат в темной комнате ребятам детские фильмы показывает. Аппарат простой, самодельный: в ящичке окошечко прорезано для кадров, дальше трубка с двумя увеличительными стеклами. В ящик вставлялась керосиновая лампа, на потолке отсвечивал кружок.

Когда открыли занавески, я хорошо разглядел аппарат, идея мне понравилась. Я, правда, спросил, а почему лампа керосиновая, а не электрическая? Оказывается, раньше они жили в деревне, там электричества не было, вот и сделали под керосиновую лампу, да так и осталось. С электрической, сказали мне, будет еще лучше.

У меня было немного денег, я пошел с одноклассником в магазин и купил пленки. Выбрать, какие, он помог мне, потом договорились обменяться после просмотра, хотя у меня еще не было аппарата. Но я твердо решил его изготовить. Пришел домой, сразу к отцу на работу:

— Папа, помоги достать ящик, патрон для лампочки, шнур, вилку. Ленту я с собой принес к нему на работу. Столяр там был мировой человек. Помог ящик сколотить, сделать вертушку, да, в общем, все, что надо было. Патрон прикрепили, шнур вывели наружу, вилку воткнули в розетку:

лампочка горит, лента по отверстию правильно ходит — все, ура! Нет, еще не все: а трубку с увеличительными стеклами? Попросили их в лаборатории, от микроскопов запасные. Нам дали. Трубку я сделал и в тот же вечер у нас дома показал сестре и всем ребятам кино.

У Маши, той, что про скорость спрашивала, отец в мастерских слесарем работал. Он ей тоже рассказал про мой аппарат. И она пришла и стала моей первой помощницей: я кручу, она тексты читает, громко и выразительно. Получается прекрасно, как звуковой фильм. Так мы устроили на дому свой кинотеатр: тогда же не было телевизоров. Показывали кино в широком коридоре, там была розетка. Я был за киномеханика, Маша диктором, Зина, сестренка моя, кассиром.

Моя задача была доставать новые ленты, покупать их, обмениваться. На это нужны были деньги, и потому мы показывали свое кино не бесплатно. Билет стоил 10 копеек. За каждый сеанс показывали не меньше шести лент. Мне приходилось через день ездить в город. Так у меня пролетело лето.

Настал сентябрь 1940 года. Я пошел уже в пятый класс, сестра в третий.

Однажды рано утром шофер автобуса, который возил сотрудников Ботанического сада с работы и на работу, пришел к нам и попросил отца дать из гаража, с какой-нибудь машины, бензина, чтоб только хватило доехать да заправки. Они пошли, набрали ведро с крайней машины. Гараж не освещался, отец еще дома зажег керосиновый фонарь. А шофер тот, когда набрал горючего, резко выдернул шланг из бочки и облил фонарь. Вспыхнуло пламя. Шофер выбежал, ведро поставил у гаражных ворот, сам вернулся помогать тушить. Подсказал отцу вытолкнуть на улицу крайнюю машину, у нее уже задние колеса загорелись. Она этим колесом наехала на ведро с бензином. Пламя так забушевало — горело все, что только могло гореть. Они и песком, и водой, потушили все-таки, только машину ту не смогли спасти. Сгорела полностью. Отец получил ожоги, его — сразу в больницу, подлечили. Выписали домой. Побыл с нами дня три. Тут приезжают двое милиционеров и забирают его от нас. Конечно, слезы, вопли — все было. Отец обнял меня и говорит:

— Крепись, сынок, я скоро приду.

Отца, правда, отпустили. В Ботаническом саду все вступились за него. Мать ездила к прокурору, он объяснил, что, хотя машина была старая, шла под списание, но есть такая

статья: за халатность, он же механик, ему полагается срок. Тем более, случилось все в его присутствии. Но, раз все его защищают, неделки через две обещал отпустить. «Только уточним, — сказал, — кой-какие неясности».

И отец пришел. Похудел сильно, сединки на висках появились. На его место уже был принят человек, и отец нашел себе другую работу: пошел матросом на танкер, который перевозил нефть из Баку до Красноводска и Астрахани. Прицеплял одну-две баржи, тоже с нефтью. Буксировал их по назначению. Дома отец бывал раза два в месяц, а потом — опять в рейс.

Незаметно подошли летние каникулы. Отец говорил, если будут оценки хорошие, возьмет с собой плавать по Каспийскому морю, посмотреть другие города и море, и реку Волгу. Я закончил тот год хорошо, только одна тройка была — по русскому. Пришел он из рейса, договорился в конторе, и дня через два мы с ним вышли в море.

Первое мое путешествие было в город Красноводск. Туда мы везли нефть и тянули на толстом тросе большую баржу, всего на один метр видна была над водой, так сильно нагружена.

Море было спокойное, впереди по ходу плавали, ныряли тюлени. Зрелище — глаз не отведешь. Подплыли мы уже к Красноводску. Чайки нас встречают, летают низко, вот-вот мачту заденут. Причалили мы к пристани. Пока отгрузят нефть, можно погулять по городу. Но, конечно, против Баку Красноводск — крошка. Вода пресная на вес золота. Оказывается, они берут воду морскую и опресняют ее кипячением. Попробовал и я опресненную воду. Мне она не понравилась. Привык к бакинской воде.

Из Красноводска взяли курс на Астрахань. Палуба и носовая часть были забиты большими тюками. Заметил сзади баржу, она была уже другого цвета, желтая, и над водой метра на четыре выше, и тоже нагружена тюками. Спросил у отца, как это все понять: в Красноводск нефть привезли, а в Астрахань — тюки?

— Это, — объяснил он, — мы обмениваемся с союзными братскими республиками, им нефть, от них другой товар, и так все время помогаем друг другу.

Когда на Астрахань плыли, погода изменилась: дул ветер, и волны были большие. Знакомый матрос, тезка мой, стоял рядом:

— Это, — успокоил меня, — чепуха, волны бывают — с палубы человека сшибают. Но это ты увидишь, когда пойдём на Махачкалу.

— Еще и на Махачкалу поплывем?— спрашиваю.

— По всему Каспийскому морю, вдоль и поперек!

— Дядя Боря, а страшно, когда до палубы волны доходят?

— Кому страшно, а тебе не будет, потому что ты постепенно привыкаешь. Вот кто впервые выплыл в море и сразу в большие волны — того укачивает. Каспийское море вообще-то шутоломное.

Видел я потом и Астрахань, и Махачкалу, испытал и качку, и волны большие, с моряками рыбу ловил, песни пел, стрелял из воздушного ружья в цель. Много было всего интересного в тех рейсах. Надолго запомнились бы мне морские каникулы, если бы ничего в то лето не случилось. Но шло лето 1941 года...

Утром часов в одиннадцать мы подплывали к Астрахани. Капитан приказал: всем, кроме вахты, построиться на палубе. Тут и узнали мы о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Теперь никто не должен был без разрешения покидать корабль. Меня, когда причалили в Баку, отправили домой, на берег.

Город заметно изменился, люди все такие серьезные, почти никто не улыбается и не шутит. Машиного отца взяли в армию. Я ее утешал, а потом предложил:

— Маша, мы с тобой здесь старше всех детей. Давай организуем отряд помощи семьям, из которых отцы ушли на фронт.

— Боря, ты и в такое время не падаешь духом!— восхитилась Маша.

— У меня отец на корабле. Он сказал, на наши плечи ложится забота о вас. И я ему ответил, что мы уже не маленькие.

Да, забот нам выпало немало. Все гадали поначалу, через сколько месяцев война кончится. Каждой доброй весточке с фронта радовались. Пришлось и на фронт провожать, и писем дожидаться. И как же горевал я, когда погиб мой друг-моряк, мой тезка. Был он матросом, учился заочно, наверное, хороший был бы капитан... Его матери я носил цветы из Ботанического сада, пока она сама с госпиталем не уехала на фронт.

Моему отцу воевать не пришлось. Но и пожить довелось недолго.

В апреле 1943 года пошел я на пристань встречать танкер. Дали команде, наконец-то, длинный выходной. Отец очень похудел, вид у него был нездоровый: и то сказать, по-

ловина команды ушла на фронт, работали каждый за двоих. Вечером мать с отцом долго беседовали, я слышал, как мама уговаривала его обязательно пойти к врачу. Уговорила. Мы поехали утром вместе: я в школу, он в больницу на проверку.

Сестра Зина шла домой из школы и догнала отца.

— Ты чего, папа, так тихо идешь?

— Заболел чего-то, и врачи советуют лечь в больницу. Но сейчас не то время, надо работать. Вот дома отдохну и опять на корабль. Может, пройдет.

На следующий день я пошел проводить его до пристани. Он немного повеселел, но, когда стал подниматься по трапу, посередине даже раз остановился, чего никогда прежде не было — бегал, как молодой.

В мае пошли встречать его все втроем, а его на корабле нет. Сказали, что отвезли в городскую больницу. Там мы его навещали каждое воскресенье, ему становилось то, как будто, получше, то хуже. Разрешили нам взять его домой, велели кормить калорийной пищей и ухаживать хорошо. Он очень плохо передвигался, привезли домой на больничной машине.

Теперь у нас было все для отца. Ботанический сад выделял каждую весну для рабочих на пустыре по три сотки под овощи. Так вот, первые огурцы, редис, первый бурый помидор — все давали отцу. Ну и кролика в месяц два раза пожарим ему. Кроликов мы тогда держали: остались выбракованные из подопытных после Ленинградской лаборатории, как она из эвакуации обратно уезжала, рабочие их разбирали, подлечили, подкормили, они дали приплод.

Кормили отца в постели. Ой, сколько приходилось его уговаривать! Принесешь ему что-нибудь хорошее, а он обязательно поделит на четверых. Свою дольку съест, остальное стоит.

— Почему не ел? — спрашивает мама.

— Это я детям оставил.

— Так они ели.

— Нет, мать, я так не могу, вижу, дети голодные.

— Ты давай ешь, а то ноги протянешь!..

Ездили мы и в далекие районы, в аулы, меняли тряпки на муку, сыр, масло. Мать шла из своего да из нашего детских платиц, костюмчиков. Шила она хорошо, ее работу прямо-таки из рук выхватывали. Раз как-то тронулись мы в обратный путь богатые: килограммов сорок муки, сыру пять килограммов, да три — масла. Шли к железной дороге, было жарко, а кругом — речушки. Мать искупалась, а мне не раз-



решила, говорит, малярией заболеешь. Там действительно было малярийное место. Я говорю, а ты как же?

— Кому больше тридцати лет, сынок, малярия не берет, а мне тридцать пять...

Но еще в поезде ее всю ночь трясло. Я ее накрывал, чем мог, чай у проводницы покупал. Она пьет горячий чай, а никак не согреться. Пришла домой — слегла. Положили ее рядом с отцом. Ну, прямо лазарет. Зина кухарила, я лекарства добывал, тоже на обмен, на те самые продукты... Так мы спасали наших родителей.

В тот год мне уже исполнилось пятнадцать лет, закончил семь классов. Осенью, к сентябрю, решалась моя судьба: продолжать учиться или идти в ремесленное. Положение отца было неважное. Правда, он стал немного передвигаться. Выйдет во двор, погреться на солнышке и — опять в постель. Радовался улучшению:

— Ну, дети, я скоро пойду на своих двоих!..

Недельки через две опять несчастье. Отец стал отекать, ноги такие толстые, что водой налиты. Водянка и есть. «И откуда она взялась?» — сокрушалась мать.

Вот тогда я твердо решил идти в ремесленное, получить профессию и помогать семье. Пошел учиться на токаря. В училище кормили три раза в день и хлеба давали семьсот граммов. Учиться надо было два года. Получил форму, сфотографировался в ней.

А отцу становилось все хуже. Я не стал жить в общежитии, домой приходил каждый день, то хлеба принесу, то сахару.

— Да ешь ты сам, сынок, ты же работаешь и учишься. Тебе тяжело, еще от себя отрываешь.

— Папа, — говорю, — нам дают много, мне всего не съесть, вот и приношу тебе, чтобы ты скорее поправился.

Двадцать восьмого ноября того года перенес я самый тяжелый удар в своей жизни: скончался отец. Сколько бы он мог сделать хорошего, молодой еще был! И такой крепкий мужчина... Хоронили его старики да старухи, да детвора; свертники все были на фронте.

Наступил новый, 1944 год. Зина училась в шестом классе, первая моя подружка Маша в десятом, я — в ремесленном. Я за это время повзрослел. Меня в группе выбрали старостой. Отвечал за всю группу, за теорию и за практику. Особенно любил практику: работать на станках разных марок.

В феврале пришел из госпиталя Машин отец. Без ноги, но в офицерском звании — младший лейтенант. Рассказывал

о войне, об обороне Москвы, Сталинградской битве — он за участие в них и награды имел. Очень жалел моего отца.

Хорошо мне было беседовать с настоящим фронтовиком, и почти на равных: он со мной обращался, словно со взрослым, сказал даже, что мы в тылу, считай, тоже воевали, и Победа будет и наша.

Наступила весна, в марте мы уже ели с огорода лук, редис, в апреле кое-где появлялись огурцы. Жизнь шла своим чередом, мы, закалялись, взрослели. В ремесленное училище ходил я напрямую, это было гораздо ближе: перескочишь забор, там немного пройдешь, спустишься с горки — и вот оно. На занятия никогда не опаздывал, и специальность мне очень нравилась. «Токарь» — звучит здорово, а нас дразнили: «токарь по металлу, по хлебу, по салу...»

Раз нас водили на экскурсию. С фронта на металллом свозили в Баку, для переварки, столько вражеской техники — прямо целые горы. И вот мы по ним ходили. Чего только здесь не было! И танки, и пушки, и автомашины. Мы их переплавляли и изготавливали оружие, чтобы громить фашистов. В парке имени Кирова были поставлены напоказ трофейные немецкие подбитые танки, самолеты, вообще все, чем Гитлер хотел нас завоевать. Мы смотрели и гордились: даже такая мощная техника не спасла фашистов от разгрома!

У нас в ремесленном мастер Николай Иванович был замечательный токарь, больше ста человек выучил своему делу. Когда работал, все так и горело у него в руках.

А в группе всех старше по годам был Генка. Сначала он больше помалкивал, потом стал задирается. Да что там — задираться! По своему усмотрению, запугиванием да угрозами, отобрал из группы троих, самых малодушных. Обидают они самого маленького, потом смеются над ним. Заставят играть в карты, тот, бедный, проиграется и сам не ест хлеб, а отдает им. А они, гады, поедают или продают. Гляжу однажды в столовой: четверо едят суп без хлеба. Оказывается, они его выносят из столовой за пазухой и отдают этим тыловым эксплуататорам. И говорить об этом боятся: те запугали.

«Эх, — думаю, — какая группа была дружная, первое место держали по училищу!» Решил пока не жаловаться мастеру, побороться своим коллективом.

Двое наших активистов дежурили в столовой. Мы с ними ходили между столами в обед, видим, уже шестеро без хлеба едят. Спрашиваем, почему? Молчат. Ну, мы им покروшили хлеб в суп — хлебайте! Выхлебали. А те четверо

на другом конце стола сидят все вместе и волками на нас смотрят: мол, хозяйева нашлись!

Пошли на занятие по истории, пока рассадили группу, эта шатия уже избил двоих. И остальным сказали: кто пожалуется мастеру или еще кому, того ждет такая же участь.

Тут я пошел в учительскую, попросил, чтобы этот урок отменили или перенесли, необходимо поговорить с группой, разобраться. Учитель согласился, сказал мне, чтобы тех четверых я выставил за дверь, а то при них, мол, говорить не будут.

Захожу я в класс, сел на место учителя, заговорил: о том, что нам теперь не удержать первого места, что жаль терять честь коллектива из-за одного-двух наглецов.

Генка встает:

— А кто наглецы?

— Ты, в первую очередь.

— Докажи!— зло крикнул он.

— Докажем,— пообещал я.

Он начал наглеть, кричать. Я попросил его выйти. Он ни в какую, дулю мне показал, четверка рассмеялась. Остальные молчат. Я сказал:

— Если хочешь по-хорошему и чтоб было между нами, выходи из класса. А нет, я сейчас мастера вызову.

Он сидит и дразнится. Я пошел на хитрость: подозвал одного из своих помощников-активистов и на ухо ему шепнул, чтобы он к мастеру не ходил, а вышел, поболтался и зашел опять в класс. Тот кивнул головой и стал выходить. Генка как крикнет:

— Постой, не ходи, я выйду!— и вышел. Помощник мой остался. Многие облегченно вздохнули. Я вызвал одного из пострадавших к доске и говорю ему:

— Кто тебя бил и за что?

Он косится и молчит. Смотрит на этих троих. Те кулаки ему показывают. Я второго вызвал к доске. Этот был посмелее. Я его подбодрил: не бойся, мол, вон нас сколько, в обиду не дадим. Он прямо указал на тройку:

— Это они творят здесь, что хотят. Втянули в проклятую игру, проиграл я им три килограмма хлеба. Так они, как шакалы, только выйдешь из столовой, не успеешь и оглянуться, хлеб хватают. А сегодня за то, что мы съели свой паек, не принесли этим «господам», они нас избил. — И совсем расхрабрился, говорит: — С сегодняшнего дня вы у меня ни грамма не получите! Хватит того, что отца на фронте нем-

цы убили, теперь вы, заразы, начинаете бить!— и расплакался, не выдержал.

Я поднял всех троих прихвостней, спрашиваю:

— Правда это было?

Молчат, как трусливые зайцы.

— О чем вы думаете? Такого ученика обидели. Его отец и брат, защищая нас, погибли, кровь пролили за нас, чтобы мы учились и работали хорошо. Мы вас долго уговаривать не будем, скажите, что вам мешает и кто вас наталкивает на этот скверный путь. Лучше перед товарищами извиниться, чем вас взрослые будут разбирать, там с вами чикаться не станут, получите по заслугам.

— Извините,— сказали они хором,— больше этого не будет. Я призвал всех быть дружными, никого не давать в обиду. В общем, один за всех, все за одного.

Заходит Генка, глянул на пострадавших:

— Ух, предатели!

Я говорю:

— А ты все слышал?

— Все,— ответил он.

— Тогда ты шпик,— сказал я. Все рассмеялись, и Генка улыбнулся. Мы все вышли на перемену. Еще прошли три урока. Все хорошо. Пошли строем на ужин. Каждый съел свой хлеб. Поужинав, разошлись — кто в общежитие, кто по домам. Спокойно. Никаких драк.

Наутро в ремесленном мне сообщили: Генка собирается сыграть со мной злую шутку. Когда после завтрака пошли в цех, он ко мне подошел. И в кармане у него, я заметил, что-то было. Но тут меня позвал мастер Николай Иванович, и Генку как кипятком ошпарило. Буркнул только:

— Потом к тебе подойду,— и пошел.

Мастер спросил, что в группе творится, он уже от того учителя слышал. Я рассказал ему всю правду.

— Почему со мной не посоветовался? Я поддержал бы тебя.

Тут я ему сказал, что Генка сегодня со злым настроением ко мне и в кармане у него что-то заметил.

— Да,— сказал Николай Иванович,— оказывается, дружеских слов он не понимает. Придется с ним по-другому. Сейчас пойдем в цех и к нему, обобщем его. Заодно с ним и побеседую.

Заходим в цех, он, как волчонок, смотрит на нас. Станок его был недалеко от дверей. Мастер позвал его к себе. Они пошли к столу, где обычно сидел мастер и наблюдал за

нашей работой. Смотрю, Генка из карманов выкладывает все на стол. Я подошел поближе. Оказывается, там была финка в ножнах.

— Это зачем у тебя?— спросил мастер.— Ты знаешь, что строго запрещается носить холодное оружие. Кто тебе дал право его носить?— и начал писать акт. Написал, нарочно позвал тех генкиных прищепенцев и заставил их расписаться как свидетелей. Мялись, крутились, но под строгим взглядом мастера расписались.

Николай Иванович велел остановить станки. Через две минуты стало тихо. Собрались все у стола. Генка стоял спиной к нам. Мастер повернул его к нам лицом:

— Товарищи, в нашей группе появились люди, которые хотят ей вредить. Вот этот, что стоит перед вами, сегодня утром одному из вас показал финку и сказал, что эта финка поиграет по старосте.—И уже к Генке обращается мастер:— Что плохого тебе сделал староста?

— Ничего,— сам прячет голову в плечи.

— Что же,— спрашивает мастер,— как договоримся? Будем судить его? Документы составлены, свидетели есть...

— Николай Иванович, пожалуйста, простите, больше не буду,— взмолился Генка.— Первый и последний раз.

— Нет,— сказал мастер.— Ты коллектив проси, ты им насолил, вот и проси у них прощения.

— Товарищи, простите, больше этого не будет...— со стороны противно было смотреть на него.

— Ладно,— сказал мастер,— становись к группе, а финку и акт я оставляю у себя.

С тех пор Генку словно подменили. Стал он хорошим учеником, участвовал в массовой работе. У него был талант художника, мы его включили в редколлегия стеногазеты. Рисовал он туда смешные картинки, пел под гитару в художественной самодеятельности. Мы с ним потом дружили: и в кино, и в цирк ходили вместе, девушек наших между собой познакомили.

И узнал я о нем все: как бросил их с матерью отец, ушел к другой женщине, когда мать заболела. Как не смог мальчишка из-за этого учиться толком, до ремесленного еле четыре класса дотянул, да со шпаной связался. Мать-то выздоровела, работать пошла опять, но отца своего Генка ненавидел, иначе как подлецом не называл.

И еще я понял, что он у нас — прирожденный вожак. И сам предложил мастерам, чтобы Генку поставили старостой вместо меня. Николай Иванович согласился.

Он потом, когда мы училище окончили, остался в нем, тоже мастером. Женился на девушке своей. Живут, я слыхал, хорошо.

А мне пришлось уехать. Никак я не мог оставаться в Баку, в Ботаническом этом саду, где жила по-прежнему Маша. Потому что она — первая девчонка, с которой я подружился, с которой вместе и кино малышне показывали, и катанья устраивали, и подопытных кроликов кормили, и за родителей своих переживали, и гуляли потом вечерами среди цветов в Ботаническом, и поцеловались впервые... Она, как студенткой медицинского института стала, со мной, ремесленником, постыдилась дружить. Ждал ее, помню, в праздничный вечер, хотели с ней, с Генкой и его девушкой вместе пойти отдохнуть, а она в то время, обманув меня, будто дежурит, с преподавателем института, в годах уже, с нашей тогдашней точки зрения, и семейным, обнималась. И чем только он заворожил ее, лысый, противный? Ребенок у них был. Расписались, а жить вместе не стали. И росла ее дочка все в том же Ботаническом саду.

В Туркмению, в Небит-Даг, уехал я. Там нашли большое месторождение нефти и набирали с производства людей разных специальностей. Я поехал туда с разрядом токаря. Машину ту отцову, педальную, самодельную, киноаппарат, ручье-воздушку — все детство свое раздарил младшим ребятам из Ботанического. Дядя Толя, Машин отец, на протезе пришел меня проводить — он-то хотел, чтобы мы с ней были вместе, как товарища меня уважал.

Из Небит-Дага меня и в армию призвали, это уже в пятидесятом году. Перед призывом там познакомился с девушкой Полиной, она тоже по комсомольской путевке приехала. И детство у нее было много тяжелее моего: из-под Сталинграда она, в такие годы там росла, и отец погиб на фронте. Старшая сестра у Полины жила где-то далеко, за Саянскими горами. Вот тогда от нее я впервые услышал о Туве.

Город строился на глазах. Работа радовала меня, дружба с Полиной — тоже.

Однажды подходит к моему станку инженер-строитель, говорит, придется с вами поработать. Направил его ко мне начальник цеха. Надо, объяснил мне инженер, изготовить камнепильный станок, чтоб он резал камень, как ножом. Камня кругом целые горы, годится для строительного дела, только распилить надо по стандарту. Для этого нужен хороший токарь, чтобы выточить все нужные детали согласно чертежам. Я согласился.

Как сделали этот камнепильный станок? Взяли трактор С-80, без кабины, без мотора: только рама, катки, гусеницы. Закрепили на нем электромотор большой мощности, он двигал устройство взад-вперед. По бокам стояли еще два электромотора, они вращали диски метрового диаметра с победитовыми резцами. Диски крутились и резали камень. Все это точил я после работы в течение двух недель. При испытании наш агрегат блестяще себя оправдал, потом мы еще три таких изготовили. Так я стал рационализатором.

Когда провожали меня в армию, Полина обещала ждать. Поцеловал я на прощанье маму и ее, и застучали, как в песне поется, «по рельсам колеса...»

Служил я в танковой части, на Западной Украине. С Полиной переписывался, и она меня ждала. За хорошее сохранение боевой техники мне присвоили звание сержанта, назначили помощником командира взвода. Подружился я в армии с парнем-казахом, и стал он меня звать к себе, в степи Казахстана, на освоение целины. На третий год службы я стал уже старшим сержантом, был сфотографирован у развернутого знамени части. Тогда все кругом говорили о целине. Я написал Полине, и она тоже дала согласие ехать туда вместе со мной. После того, как напечатан был в газетах призыв партии и правительства, читал о целине каждый день.

«Жизнь наша,— писал я Полине,— начинается на новом месте, и пусть она начинается по-новому».

Провожали нас из армии с музыкой. Мы тронулись в путь, в неведомые края, где сейчас нужны мы и наша работа.

Я ехал со своим другом, сержантом-казахом, сначала как бы на разведку. На седьмой день приехали в Казахстан, на целину, в совхоз, откуда мой друг был родом. Совхоз назывался «Джамбул», а я еще в войну много слышал про этого народного певца и стихи его в школе учил. Кругом палатки и шесть вагончиков. Нашли директора совхоза, договорились о работе для меня и для невесты. Токарь, сказали мне, очень нужен, если приедет невеста, дадим комнату в общежитии-бараке, а поженитесь, на следующую осень получите домик, только приезжайте.

Попробовал я казахского угощения, узнал обычаи, побывал и на охоте, и на рыбалке — кругом такое изобилие, как в сказке! Понравилось. Поехал оттуда в Небит-Даг, за Полиной. Мама моя, знал уже, замуж вышла, у нее новая семья, она с нами ехать не собиралась.

Расписались мы с Полиной в Небит-Даге, сыграли не-

большую свадьбу и уехали на целину. Через три дня были в совхозе. Стал я работать токарем, а Полина — в контрольно-семенной лаборатории лаборанткой. И пошла наша жизнь целинная не по дням, а по часам. Жили мы с Полиной очень дружно, ни в чем не упрекая друг друга.

Так прошел год. Я хорошо присмотрелся к технике. Наш совхоз засеивал зерновыми двадцать восемь тысяч гектаров. Техники не хватало, особенно автомашин. Я призадумался однажды, увидев такую картину: сварочный агрегат грузят на бортовую машину, и она целый день возит его туда, где нужно варить. У нас в ограде стояли списанные сенокосилки, с точно такими же моторами, как и у сварки — на четырех колесах, с рулевым управлением. Подумав хорошо, решил: генератор сварочный пристрою за сиденьем, привод для вращения генератора возьму с ножей, откуда они приходят в движение — и все у меня получилось. Только оставалось кое-что выточить и спросить главного инженера, не даст ли он один агрегат для такой цели.

Главный выслушал меня, говорит, действуй, это даст большую экономию. После обеда дал указание поставить двух слесарей, убрать со списанной косилки навесные приспособления и все лишнее, что нам не нужно. Потом готовили площадку под генератор. Строго в центрах вывели цепную передачу и соединили привод с валом генератора. Отремонтировали мотор, накачали баллоны, смазали рулевое. Скорость достаточная — двадцать километров в час. Теперь сварщик сам мог доехать, куда ему скажут, заварить и вернуться на центральную усадьбу. Испытания показали, что надо две цепи поставить рядом вместо одной, для надежности. Машина одна в хозяйстве полностью освободилась.

Инженер дал знать в трест совхозов. Вскоре оттуда приехал представитель. Познакомился с новинкой, что-то описал, начертил, попрощался и уехал, только и сказав: умно придумано.

Потом я две бездействовавшие автомашины ЗИС-150 сумел вывести на линию. Стал с тех пор известным рационализатором, и не только в своем совхозе «Джамбул», а и дальше по району. Много еще делал, да обо всем зачем писать?

Понял я: когда человек чего захочет, добьется обязательно.

Однажды завмастерскими сказал мне, чтоб завтра с утра я приходил в чистом, три человека поедут в область, на слет рационализаторов, дня на два. Собрались, поехали. Там моя



фамилия была упомянута в списке лучших рационализаторов области. А через год у нас в совхозе было рационализаторов уже пятеро, внесли десять ценных предложений. Вскорости дали мне путевку на Выставку в Москву, поехали мы с Полиной вместе, на обратном пути заехали в Волгоградскую область к ее матери. Много мне дала эта поездка.

Прошло полгода, как я съездил в Москву. У меня уже было подано двенадцать рацпредложений, из них девять ценных, о них в газете писали, в статье «Золотые руки». Послали меня в Алма-Ату, столицу Казахстана, уже на слет рационализаторов республики. Вручали удостоверения, дипломы.

Потом я сделал бурилку, чтобы снабжать водой совхозные отары овец на пастбище. Тоже на базе списанной сенокосилки. Когда и с этой задачей мы справились, приехал главный инженер из треста, посмотрел и предложил:

— Не желаешь идти учиться на инженера, на два года, в Алма-Ате, с сохранением заработка?

Я ответил, что не смогу, наверное, все забыл.

— Зря,— заметил он,— ты у нас в тресте числишься первым кандидатом на эти курсы.

— Поздно мне учиться, я уже отец.

— Ничего не поздно. Я сам всего три года, как получил высшее образование, а мне уже сорок лет.

— Подумать надо.

— Ну, ладно, думай, потом пришлешь заявление в трест, прямо ко мне.

Я задумался насчет учебы. Стал советоваться с женой. Она в слезы:

— Ой, два года разлуки, зачем тебе это надо?— да вспомнила еще (как раз перед тем кино смотрели), как одна колхозница мужа выучила, а он потом ее с детьми и бросил...— Откажись,— просит,— Боря, зарабатываешь ты хорошо, и специальность у тебя хорошая, токарь — так гордо звучит!..

Вспомнил тут я, как хотела моя сестренка Зина, отличница в школе, стать учительницей. Не пришлось. И я после семилетки сразу в ремесленное пошел. Еще вспомнил, как та, первая моя девушка Маша, когда в институт поступила, меня, ремесленника, упрашивала, чтобы учился дальше, на техника, на инженера... Не мог тогда. Теперь предлагают, и что же?..

— Ладно, — говорю Полине, — пусть будет по-твоему. Да и учиться мне теперь было бы тяжело.

Больше мы к этому разговору не возвращались.

Степь там ровная, глянешь, конца не видать. Задумали мы зимой сделать аэросани — и сделали. С двумя седоками скоростью километров пятьдесят развивали наши аэросани, с тремя — тридцать пять наверняка.

Прожили на целине больше десяти лет. Дети росли, дочери было уже семь лет, сыну четыре. Завязалась у нас переписка со старшей сестрой Полины, что жила в Туве. Она звала к себе, хоть бы в отпуск — никого родных, писала, кругом нет. Здесь, писала еще, строится новый поселок, со временем будет большой промышленный город, вам обоим найдется работа, приезжайте.

И мы приехали в августе 1966 года в Ак-Довурак. Больше двадцати лет живем здесь. Детей вырастили.

Это у меня уже пятая республика после Азербайджана, Туркмении, Украины и Казахстана. Сколько я повидал разных людей и народов нашей страны! И везде живут братской, единой семьей, у всех одинаковые взгляды на труд. Попадают, конечно, единицы, им лишь бы день прошел. Но таким неинтересно, мне кажется, жить на свете: без мечты, без цели — зря только место занимают в жизни.

Два выходных дня дают много свободного времени, чтобы осуществить какую-нибудь идею. Появилась у меня мысль автомашину изготовить своими руками: что из этого получится? Рискну! Взаялся. Через год сделал. Стал испытывать, покатался часа три — показала себя надежно. На другой день поехал в ДОСААФ, там ее тщательно проверили, взял три акта проверки, потом в ГАИ, там получил номера, документы. Радости было! И со мной радовались все, кто понимал в технике. Назвал машину «Хемчик», в честь местной речки. Развивала скорость до восьмидесяти километров. Потом я ее усовершенствовал, сделал и передний мост ведущим, чтобы в тайгу добираться. И по грибы ездили, и по ягоды.

Освоил я здесь еще и специальность шлифовальщика. Универсальным рабочим, можно сказать, стал. С людьми сдружился. Вместе построили комбинат «Туваасбест», вместе работаем.

Мечта у меня и сейчас есть. Махолет сделать. Очень экономичный в горючем. Думаю, должен получиться. Вот и все. Не мне, конечно, судить, как моя жизнь сложилась, — хорошо ли, плохо. Но знаю я, что такое счастье, — не понаслышке.

Юрий КЮНЗЕГЕШ

**ВЫСОКАЯ ЛЮБОВЬ**

Памяти Никоса Белоянниса, политкомиссара дивизии ЭЛАС<sup>1</sup>, члена ЦК Компартии Греции, казненного в 1952 году.

Славны герои греческие...  
Радость в геройском стане:  
славлю дитя человеческое,  
родившееся в киндане<sup>2</sup>.

Славлю отца-«преступника».  
Славлю его «преступление».  
Нет у героев заступников.  
Героям не нужно отмщенье.

Если в Эгейском море  
гимны поют сирены,  
то, значит, своей страной  
новый герой расстрелян.

Надо за жизнь цепляться,  
смерти страшась безликой...  
Славлю мертвые пальцы,  
сжимающие гвоздику.

---

<sup>1</sup> ЭЛАС — народно-освободительная армия Греции.

<sup>2</sup> Киндан (новогреческ.) — тюрьма, от древне-тюркского «зиндан».

Там, в ожидании яркого света,  
сосны устали и ели устали:  
виснут, цепляясь за скалы из стали.  
Солнце заглянет сюда напоследок.

Там, в ожидании, сосны и ели  
жмутся друг к другу, как раньше, в метели,  
с робостью слушая рокот реки,  
льющейся там, по ущелью глубокому,  
где чуть испуганный взгляд козаги<sup>1</sup>,  
не отражаясь, стекает потоками  
дальше, во тьму...

Ни козерог и ни сосны, ни ели  
так и не знают, что там я оставил;  
разве что след чуть приметный да пепел,  
пепел костра да мотив, слышный еле  
мне одному, —  
это в прошлом году.

Милая, мне нелегко в самом деле.  
Солнце пришло и ушло...  
Я остался.

## МОСТ

Рассказ добровольца-кавалериста Донгака  
Хорун-ооловича Таржа.

Не помню даже, был ли страх, —  
мне не до страха было.  
А помню я настил из плах,  
шершавые перила,  
и я в окопе у моста,  
и жизнь проста,  
и смерть проста —  
все это рядом было.

И мост, и я — в дыму, в огне,  
и в нас уперлись танки  
и лупят по нему, по мне:  
все в грохоте и мраке.

---

<sup>1</sup> *Козага* — годовалый козерог.

И отступил наш эскадрон,  
чтоб за рекой создать заслон,  
чтоб отразить атаки.

А мы в засаде у реки  
остались. Нас тринадцать.  
Мы — бронбойщичики-стрелки.  
Мы продолжаем драться.  
Мне пуля вражьего стрелка  
по каске чиркнула слегка —  
ох, тошно было, братцы.

Так раскаляются стволы,  
что их рукой не тронешь.  
А немцы прут — настырны, злы,  
и ты в прицел их ловишь.  
Разрыв! И друг, напарник мой,  
о камни бьется головой,  
и кровь не остановишь.

Ракеты на́ небо взлетят  
и светом все заполнят.  
Кто жив остался из ребят,  
тот видел и запомнит:  
разрыв — и мощною волной  
наш помкомвзвода молодой  
был над землею поднят.

И с ним одиннадцать солдат  
собою мост закрыли.  
И с ним остались навсегда —  
врага остановили.  
Я был снарядом оглушен,  
и сразу словно тыщи тонн  
меня в окоп вдавили —  
живой, я был в могиле.

Названья речки не могу  
я вспомнить и доньше.  
Там дали мы отпор врагу,  
чтобы добить в Берлине.  
Я помню деревянный мост  
и наш на нем нелегкий пост  
на нашей Украине.

## ИКЕБАНА

### Максим Мунзук в Японии

Как тонкий лепесток, фарфор,  
и в нем — всего лишь два цветка...  
Двух милых речек берега,  
где до колен — цветов ковер.  
Ты любовался этим чудом  
фарфоровым — чудным и чуждым.

Картина, красками щедра,  
открылась на стене тебе:  
стройна священная гора  
и островерха, как Доге.  
И ты подумал: хороша  
народа каждого душа.

Морская — на холсте — волна  
на взгляд (на солнце!) холодна, —  
и ощутил ты уют,  
и пожелал лесов и юрт,  
и широты родной, степной...  
Подумалось: пора домой.

Но два цветка, два стебелька,  
любовно влитые в фарфор,  
шепнули вдруг: уймись, тоска,  
но красоте родимых гор,  
где склон крутой тайгой порос,  
где ныне властвует мороз.

Зашелестели два крыла  
Усури голубых сорок<sup>1</sup>,  
и крикнул на Усу улар...  
И понял ты: всему свой срок.  
Прекрасна чуждая земля,  
но краше всех — земля своя.

---

<sup>1</sup> Голубая сорока — редкая птица, встречающаяся в Уссурийской тайге, где М. М. Мунзук снимался в фильме «Дерсу Узала».

## МОЙ АЗАС

Небесным чистым цветом  
цветет Азас,  
он в колыбели светлой  
качает нас,  
ласкает теплым ветром  
и вóлнами  
безмолвными —  
прекрасен мой Азас!

С тобою, дорогая,  
плывем вдвоем.  
Азас — он в сердце, знаю,  
теперь твоём.  
Объятья открывая,  
и ты волной  
летишь со мной  
озёрной, озорной!

Как маленькая рыбка  
в больших волнах,  
мелькнет твоя улыбка,  
любви полна.  
Плывем мы с песней к солнцу —  
и счастья челн,  
влеком лучом,  
как лилия меж волн!

## В ЖИЗНИ ДОЛГОЛЕТНЕЙ

Екатерине Тановой

Входили вместе в море жизни мы с тобой.  
И вышли на́ берег. Внизу шумит прибой.  
И дети выросли. Не возятся гурьбой —  
сидят и слушают рассказ неспешный твой.

Еще не время им вступать в наш разговор:  
сперва им надо одолеть морской простор  
и жизнь изведать всю, как есть. А до тех пор —  
пусть не завидуют! Решит лишь время спор.

Когда они переплывут свой океан,  
то в разговоре уделят словцо и нам:  
«Вот,— скажут,— были молчуны и простаки,  
а, впрочем, вовсе неплохие старики...»

«Пока судьба не отделила их от нас,  
поговорить бы да послушать их наказ,  
да расспросить бы их, да получить совет:  
куда идти? Когда? Где тьма? Где свет?...»

Входили вместе в море жизни мы с тобой...  
И вышли на́ берег. Шумит заздравный той.  
Но не отстали мы от жизни молодой  
и нас не манит улаждающий покой.

Не помянут нас горьким словом: «А-а, халак!»  
Не упрекну́т, что понапрасну жизнь прошла.  
Глубокой старости достанутся тела —  
а мы останемся. Мы — в песнях и делах.



Леонид ЧАДАМБА

## СОВЕТСКАЯ ТУВА — ЧАСТИЦА ОКТЯБРЯ

Над нашим краем, горным и озерным,  
горит, как флаг, пурпурная заря.  
Встают хребты Саян, как цепь дозорных.  
Тува Советская — создание Октября.

Ты — сердце Азии. Ты в лентах быстрых речек.  
Я голубой зову тебя не зря.  
Идешь ты счастьем мирному навстречу,  
Тува Советская — подарок Октября.

Среди чертогов дружбы в юрте белой  
твои глаза так молодо горят!  
На древе счастья ты, как плод, созрела,  
Тува Советская — частица Октября.

Вздымаешь к небу трудовое знамя,  
и орден Ленина пылает, как заря.  
И где б мы ни были, всегда ты с нами,  
Тува Советская — искринка Октября.



Держась за плечи, словно в танце дети,  
идем вперед, мечтой своей горя.  
Как хорошо, что есть на белом свете  
Тува Советская — ребенок Октября.

## НА ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

Сегодня все выйдут скорей поутру,  
о празднике нашем беседа с веком,  
и будут следы вышивать по ковру  
под солнцем блестящего первого снега.

Свежо отдает он парным молоком,  
как память о лыжах, о сказочном лесе.  
Глаза я на миг прикрываю рукой  
от этого ярко слепящего блеска.

Он пахнет, как детство, как милый аржаан,  
и голову кружит своим ароматом.  
Его я в ладонях, как птицу, зажал,  
к щеке подношу, как синицу из сада.

О, пусть ее голос звучит себе всласть,  
как память, всю душу мою растревожит.  
Мой праздник — Октябрь, Советская власть,  
мой путь не окончен и век мой не прожит.

И мысленно я облетаю страну  
и вижу колонны ее демонстраций.  
Умели мы мира беречь тишину,  
умели за мир этот радостный драться.

Пусть звуки оркестра над миром звучат,  
о празднике нашем поведают свету.  
Шагаем мы в ногу, и дружный наш ряд  
как будто опять поднялся за Советы.

Шеренги текут, словно сам Енисей  
себя расплескал у трибуны народной.  
Я вижу черты и родных, и друзей,  
я песни пою об Отчизне свободной.

В толпе нагоняет с улыбкою сын,  
он радостно хочет сказать нам о чем-то.  
Как хрупкий росточек, как каплю росы,  
он нашего держит в ладонях внучонка.

Младенец, кровинка и плоть Октября!  
Как счастье, твое отмечаем рождение.  
Я верю: на свет ты родился не зря,  
навечно ты будешь моим продолженьем.

Мой милый, глазастый... Растет пусть семья  
народов единых под солнцем Отчизны.  
Войди в этот мир, заменяя меня,  
достойный и праздников этих, и жизни.

## КРЫЛАТАЯ ЮНОСТЬ

Посвящается ансамблю «Саяны»

Давно ли родился ансамбль наш «Саяны»,  
но свет от него, как от яркой звезды.  
Посланцем он был в многочисленных странах  
от нашей таежной родной стороны.

«Саяны»! Пропойте мелодию лета,  
пусть песня взлетает орлом к облакам,  
пусть песня надежд и горячего света  
звучит над Тувою, как ваш чадаган.

Все танцы у вас так легки и так пла́вны,  
как бег голубой улуг-хемской волны.  
Желал бы я вам белым лебедем плавать.  
по вольным просторам советской страны.

Все песни, которые зрителям спели,  
в которых звучали и радость, и грусть,  
которые в душах рождались и зрели,  
запомнило сердце мое наизусть.

«Саяны»! Вы — голос родимого края,  
вы — шелест серебряной, в росах, травы.  
Как птица, с высоких небес окликает  
крылатая юность любимой Тузы.

## ЛЮБИМАЯ ЗЕМЛЯ

Между хребтов Саян и Танну-Ола,  
где набирает силу Улуг-Хем,  
с высот, как бы с небесного престола  
глядит моя Тува и светит всем.

Твоих вершин и птица не коснется,  
мой край оленеводов, чабанов.  
Долины Енисея встретят солнце  
ковром узорным ягод, трав, цветов.

Твоим горам под этим небом тесно,  
они пронзают синь и облака.  
И о Туве поет народ наш песню  
и ей желает счастья на века.

Встают вершины в шапках серебристых  
друг подле друга, мощно, как борцы,  
и склоны их, как плечи, мускулисты,  
и реки с них бегут во все концы.

Пусть не страшит их грозное обличье —  
они к гостям приветности полны,  
они — как символ доброго величья  
моей прекрасной мирной стороны.

Нам вечный мир во имя счастья нужен.  
И я ищу высокие слова,  
чтоб громко славить край любви и дружбы.  
Моя судьба — любимая Тува.

## КОБЗАРЬ В ТУВЕ

Смотрю, как мчится Улуг-Хем в долине,  
и вижу воды чистые Днепра.  
Цвети под солнцем мирным, Украина,  
ты для Тувы — подруга и сестра.

Мы помним завещание Тараса:  
не забывать его в большой семье.  
Его слова, сквозь будни и сквозь праздник,  
взросли цветами яркими в траве.

Кобзарь великий! Мы тебе как внуки.  
Услышь через пространства и года:

летят твоей родной бандуры звуки,  
звенит сыгыт, как вешняя вода.

И нет семьи дружнее, чем Россия:  
она всем счастье равное дает.  
В ее глазах, зеленых, черных, синих,  
великой дружбы пламенность живет.

Когда сердечно начинают песню  
певцы Тувы Уран и Кара-кыс,  
Шевченко с ними запевают вместе,  
чтоб голоса их к солнцу поднялись.

И с ними Улуг-Хем, с Днепром и Волгой,  
поют о счастье нынешнего дня.  
Звучит их песня гордо и привольно,  
как птица в небе, радостью звеня.

Великий сын великой Украины  
о дружбе и о вольности поет.  
И в улуг-хемской слушает долине  
его слова тувинский мой народ.



*Анатолий ЕМЕЛЬЯНОВ*

### **ГРАКХ БАБЕФ**

*Из цикла «Коммунисты»*

«Прощайте же еще раз, мои горячо любимые,  
мои дорогие друзья. Прощайте навсегда.  
Я погружаюсь в сон честного человека».

(Гракх Бабеф (1760—1797),  
основатель и идеолог «Заговора равных»,  
ставившего целью свергнуть во Франции  
буржуазное правительство и установить  
республику на принципах социальной справедливости).

Может, это действительно так, как тебе показалось,  
что не смерть твой предел, не забвенья, а только лишь сон.  
Смерть для тех, от кого ничего для людей не осталось,  
сколько было их — важных и знатных при жизни персон.



В яростной схватке добра  
против зла  
родились мы.  
Силы добра  
всех людей,  
всех веков  
в нас живут.  
Сколько погибло  
великих защитников жизни!  
С нами их разум,  
их сердце,  
и воля,  
и труд.

Всем бы создать им  
мемориальные залы,  
всех бы их надо  
внести в наградные листы...

Память людская  
навечно в сердца их вписала,—  
рыцарей разума,  
правды, добра, красоты.



*Олег СУВАКПИТ*

### **ХОЗЯЕВА СТРАНЫ**

Все звуки песен,  
все цветы весны,  
все краски радуги  
над нами зажжены.  
Когда идем работать утром рано,  
то даже солнце встрече с нами радо:  
мы — трудовой народ — хозяйева страны.

Единый долг у нас перед людьми,  
у нас одна забота — строить мир.

В трудах и спорах крепнет вдохновенье.  
Нам так понятна радость обновленья.  
когда гроза сверкает и гремит!

Но ненавистен нам военный гром.  
Мы рады спор любой решить добром.  
Но робко головы в песок не прячем,  
и, если час придет, в бою горячем  
для жизни человечества — умрем.

Плывут комбайны в солнечной пыли.  
Летят космические корабли.  
Работаем, живем, не ждем награды —  
светили б только краски мирных радуг —  
мы, трудовой народ, — хозяева Земли.

### ИСКУСНИЦА

Ты замужем давно,  
и счастливо живешь.  
Ты стала матерью,  
детей растишь на радость.  
Давно к себе меня  
улыбкой не зовешь...

И прежде не звала.  
А может, и не надо?

Цветов я не вплетал  
в волну тяжелых кос  
и пламенем любви  
тебя не обжигал,  
и на лихом коне —  
ни разу не пришлось! —  
обняв тебя, вдвоем  
сквозь степи не скакал...

Но встречу вдруг  
тобою вышитый узор —  
ни узелка на нем не разглядел бы я,  
и мне не отвести  
очей влюбленных взор,  
и нежно я шепчу:  
— Искусница моя!

И книги — все! — твои  
бесценные прочел:  
народной мудрости  
полна душа твоя.  
Несовершенства в них  
не нахожу ни в чем —  
красноречива ты,  
кудесница моя.

У матери родной  
ты выучилась шить,  
а мудрость вещей слов —  
наследие отца...  
И вот — не в силах я  
в молчанье больше жить,  
всем сердцем я твержу,  
несчетно, без конца:  
— Искусница моя!  
Кудесница моя!



**Павел ЖЕЛЕЗНОВ**

### **АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ**

Врагам от правды не укрыться:  
был бой на озере Чудском,  
и удирал ливонский рыцарь,  
забыв про Новгород и Псков.

Тогда с железных шлемов наземь  
летели гнутые рога  
и рядом с Александром-князем  
кузнец Онуфрий бил врага...

Кто слову разума не внемлет,  
того мы крепко бьем, с плеча.  
«Поднявший меч на нашу землю  
найдет погибель от меча!»



Не все ль равно, мечи иль танки?  
Да, прав был Невский Александр:  
Добыча вóронам — останки  
дерзнувших на Россию банд!

Июль 1944 г., действующая армия.



*Екатерина ТАНОВА*

\* \* \*

Случилось так: я в те места пришла,  
где юрта детства твоего была,  
где ты увидел этот белый свет,  
где под слоями жизни — детский след  
от ног босых уже не различу,  
а твой исток я так понять хочу.

Ровесницы твои... Кто? Кто из них  
тебе был дорог в молодые дни?  
Через года гляжу, тебя любя,—  
ни в чьих глазах не вижу я тебя.

И поняла я: не случилось дня,  
чтоб не искал ты с давних пор меня.  
Немало надо было врозь пройти,  
чтобы слились навеки два пути.

Ты не жалея, что юность далека.  
Когда разгонит ветер облака,  
ты выйди встретить позднюю звезду.  
Ведь это я опять тебя найду.

\* \* \*

Ты распахнуть мне сердце поспешил —  
и я хочу ответить от души.  
Я повторю, что сердце говорит:  
— Вон, в вышине, моя звезда горит,  
звезде любви я навсегда верна,  
она на целом свете лишь одна.  
Судьбы своей звезду и ты ищи.  
Мой друг, мой брат, за правду не взыщи.

Всего лишь миг с тобой была я рядом,  
и радуга тогда вокруг цвела.  
Лишь вспомню — и под тем далеким взглядом  
душа опять, как в миг тот, ожила.  
В ней осени сполохи отвечают  
гой радуге, что где-то там, в начале.

### РАССЕДЛАЙТЕ, ХЛОПЦЫ, КОНЕЙ

Расседлайте, хлопцы, коней,  
ждут другие вас дела.  
Пусть гуляет конь на воле,  
позабыв про удила.

Солнце за гору заходит,  
вешний вечер в сад зовет.  
В молодые ваши годы  
отдохните от забот.

Молодцам девчата рады,  
а тем более — хорош!  
С вишенкой-Оксаной рядом  
рука об руку пройдешь.

А другой — гляди, не тихий,  
а веселый, озорной —  
он с Долааной-облепихой,  
с ней, единственной-одной.

Выйдут обе утром рано  
поглядеть на алый цвет —  
а зари-то нет как нет:  
отцвели ее румяна,  
перед вишенкой-Оксаной,  
облепихою-Долааной  
потускнел и сам рассвет.

Отпускай коней, ребята.  
В сад ступайте поскорей.  
Ненаглядные девчата  
заждались своих парней.

Но, коль времечко настанет,  
час придет и зол, и крут,  
на дыбы все кони встанут,  
снова будут тут как тут.  
Унесут вас кони снова  
по дорогам боевым.  
Вспыхнут версты Кечил-оола  
в небе облаком седым.  
Оседлать коней сумеем:  
в сердце грусть —  
а ветер в грудь...  
Снова имя Бурзекея  
нам укажет верный путь.  
И поднимем знамя выше,  
чтоб гордиться на Земле  
нам украинскою вишней,  
облепихою в Туве.  
Коль рассвет разбудит ранний,  
да лихой придет из тьмы,  
ни России, ни Украины  
не дадим в обиду мы!

А сегодня — вечер тихий,  
соловей свистит-поет...  
Зреет в чаще облепиха.  
Вишенка в саду цветет.



*Эмма ЦАЛЛАГОВА*

## ГОЛОС ЛЮБВИ

Как неистовы были тогда соловьи,  
как в листве рассыпали рулады.  
И бессонная ночь, словно оклик любви,  
выплывала из тихой прохлады.

Выкипала молочною пеной сирень,  
и от ветра звезда пламенела.  
Эта ночь умерла.  
Но сквозь тягостный день  
моя память тянулась за нею.

Я теперь ничего изменить не могу  
ни поступком, ни жестом, ни словом.  
И стоят и молчат, как деревья в снегу,  
только тихие тени бывшего.

Улетела моя молодая весна,  
словно миг, безвозвратно и скоро.  
Я уже оплатила блаженство сполна,  
но еще не оплачено горе.

Но еще потаенно мне голос любви  
прозвучит на пороге разлуки.  
И протянут звенящую нить соловьи,  
как дорогу от счастья до муки.

### УТРЕННИЕ СТИХИ

Это утро нежнее,  
чем скрипок дыханье,  
и плывет оно в мир над землей,  
не спеша.  
Я не просто,  
не так говорю —  
я ручаюсь,  
что у каждой травинки  
открылась душа.

Как я раньше не видела,  
как проглядела  
это тихое чудо  
рассветной зари.  
Побледнел небосвод,  
и звезда догорела  
на туманной вершине  
высокой горы.

Паутинки ожили  
на тихих покосах  
и дымками поплыли,  
касаясь лица.  
Все казалось, что кто-то  
идет ко мне в гости,  
замедляет дыханье,  
шаги  
у крыльца.

## ГАДКИЙ УТЕНОК

Утенок гадкий в полынье,  
лишенный прав и званья птицы.  
И все ж ему дано стремиться  
крылатым стать в иной судьбе.

А значит, грудью всей края  
смертельных льдов крошить с размаху,  
а после, крошку в пыль дробя,  
победу праздновать над страхом.

Пора и мне теперь постичь,  
что торжество творится битвой,  
что жажду крылья обрести  
питает бой, а не молитва.

Ведь милосердная рука  
меня не вывела из плена.  
Что толку рваться в облака,  
под крышей стоя на коленях!

Остыла горькая зола  
всех неудач и тяжких срывов,  
пока я лебедем плыла  
от стен смертельного обрыва.

И в новой доле без обид,  
на свет прорвавшись из потемок,  
пусть лебедь царственный хранит  
упорство гадкого утенка.

## ПОСЛЕДНЯЯ МЕТЕЛЬ

Весь век зову свою печаль  
твоим бессонным жарким  
именем.

Сними проклятия печать,  
воскреснуть дай —  
и снова  
жди меня.

И пусть последняя метель  
кружит над сердцем  
белым аистом.

Сними размолвок горьких тень,  
чтоб так же горько нам  
не каяться.

Не умножай моих обид,  
не дай споткнуться мне  
над пропастью,  
и научи меня любить  
отвагой гордой,  
а не робостью.

Уже за черной тучей тьма  
зажгла зрачок туманный  
месяца.  
Уходит долгая зима,  
а март — весной и встречей  
грезится.

Вплелась я в нить твоей судьбы,  
не разорвать, пока мы  
связаны,  
пока летящих две звезды  
в одну сливаются  
над Азией.

А я все тоскую,  
несбывшейся маюсь мечтой.  
Мертвые листья  
с деревьев слетели.  
Серые дни,  
как дожди,  
чередой  
тянутся к белым метелям.

## МАСТЕРСТВО

Нелегко родилось мастерство...  
В жаркой тайне тревожных бессонниц  
нарастал несмолкаемый звон  
и слова обжигали, как солнце.

И, взглядевшись в обличье земли,  
кто-то брался за холст и за кисти,  
а бродяги по свету несли  
небывалые сказки о жизни.

В их словах прикипали к ветрам  
золоченые ветви оливы,  
и, как первые знаки добра,  
повисали весенние ливни.

Говорили о чуде земли,  
продавали заморские вещи,  
проводжали в рассвет корабли  
и лукаво смотрели на женщин.

А, взглянув, человек понимал,  
что живет в этих бронзовых прядях  
красота, что сводила с ума,  
красота, что дышала с ним рядом.

И без смысла измучив себя  
неразгаданной тайной пропорций,  
уходил он в рабы мастерства,  
чтобы им обжигаться, как солнцем.

Эти женщины — чудо и жизнь,  
в них мелодия синих апрелей.  
И смычком становилась кисть  
в отвердевшей руке Рафаэля.

## НАУКА СЧАСТЬЯ

Пройти весь рай. И не забыть  
обшарить ад, сжигая руки.  
Искать у сердца и судьбы  
для счастья тайную науку.

Ворваться в мир бесстрастных звезд,  
дождем упасть в сухую землю.  
Потом с травой подняться в рост,  
облекшись вдруг в цветы и зелень.

Проникнуть в горло соловью  
в миг высочайшего забвенья.  
Снежинкой выплыть среди вьюг  
из их грохочущего пенья.

Познать уродства тяжкий груз  
и ужас смерти леденящий,  
и положить у сердца грусть,  
как плод, которого нет слаще.

Изведать горести любви,  
ее обман, безумство речи,  
венком ее колочки свить, —  
пусть проклинать — но не отречься.

Есть в этом смысл и торжество:  
сквозь праздник встреч и боль разлуки  
пройдя,  
у сердца своего  
учиться счастью,  
как науке.



*Марьям РАМАЗАНОВА*

### **ШОНЧАЛАИ — ХЛЕБЕНКИ**

Лишь растает на лужайке  
в ярких блесках рыхлый снег,  
шончалаи целой стайкой  
расцветают раньше всех.

Будто гости к нам спустились  
в виде звездочек с небес.  
В шончалаи превратились,  
на весну оставшись здесь.

Золотые лепестки,  
как пушиночки, легки.  
Стебелечки гладкие.  
Корешочки сладкие.

### **ВЕТЕРОК**

Шаловливый ветерок,  
будто шелковый платок.  
То листвою зашуршит.  
Рябью речку шевелит.  
То обнимется с горой  
своей легкою рукой.  
Пробегает по кустам.  
Побывает тут и там.



Зорька алая приходит.  
Он устал и спать уходит.  
Окунется в синеву.  
Спит, закутавшись в траву.



*Зоя НАМЗЫРАЙ*

## ПТИЦЫ ДЕТСТВА

Очень мало пришло из детства:  
только поле — ни дней, ни лиц...  
Я и мама. И бьется сердце  
от диковинных этих птиц.

Утро раннее. Нивы скошены.  
Мать обходит птиц стороной.  
Их глаза, такие тревожные,  
все следят и следят за мной.

«Журавли», — говорит мне мама.  
«Журавли», — шелестит трава.  
Минул день. Закружил над полями  
первый снег — невесты вуаль.

Клином в небо взметнулась стая.  
На мгновение крик отстал.  
Это детство от нас улетает  
к неизвестным, чужим местам.

Мать сказала: «Вернутся птицы.  
Не грусти. Прилетят весной...»  
Только детство не возвратится.  
Только память его со мной.

## ПТЕНЕЦ

Красногрудый птенец —  
капля жизни и света,  
он впервые взлетел  
на глазах у меня.

И уселся на ветке.  
И в песне пропетой

столько было задора  
весны и огня.

Вторит песне птенца  
птица-мать,  
и качает  
ветер ветви деревьев...  
И солнце — в окне.  
Слышу в щебете:  
«Мама, ты видишь —  
летаю».  
«Ты не бойся —  
Я рядом.»  
И весело мне!

\* \* \*

Кружат и кружат вихри-шаманы,  
звучат, свирепея, полог у юрты.  
В лунной лазури стынут курганы —  
с болью сердечной справиться трудно.

Болью пронзает душу и память.  
И дымовое отверстие  
напоминает все, что меж нами, —  
брошенный перстень, брошенный перстень.



*Монгуш ОЛЧЕЙ-ООЛ*

### УДИВЛЯЮСЬ

Не в тихой заводи судьба взяла начало.  
Бывало всякое.  
К последнему причалу  
теченье времени  
уносит жизнь мою,  
но удивляться не перестаю.

Пришла беда.  
Предельным напряженьем  
из крайности такого положенья  
не выбраться.  
Смирись, удел таков...  
Ищу совета в томике стихов.

Перелистав любимые страницы,  
вновь должен был  
счастливо изумиться:  
сто лет тому назад большой поэт  
дал четкий, умный дружеский ответ —  
предвидел, что ли, он  
вопросы эти  
тувинца  
из двадцатого столетья?

Согрела сердце добрая рука,  
протянутая мне издалека.

И понял я:  
нет, не во имя славы  
писал стихи он,  
гений величавый,  
гигант,  
душою щедрый человек,  
так просто подруживший  
с веком — век!

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Когда я родился на бренной земле —  
заплакал, как тот, кто впервые в седле.

Но мать меня на руки нежно взяла  
и тихую песню свою завела.

Вскормила, вспоила и силы дала,  
и в руки вложила судьбы удила.

С тех пор я не плачу. Напев-чародей,  
навек причеканил ты к жизни моей

удачу, и славу, и радость любви:  
орленок мой первый, счастливо живи!

Но годы бегут, но состарюсь и я,  
и глянет душа за предел бытия,

и время настанет, и час мой пробьет,  
и матушка к сыну проститься придет,

и песня ее зазвучит мне вослед  
щемящей отрадою прожитых лет.



СКАЖУ ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ

Авай, ты не нашла тряпицы старей,  
чтоб первенца согреть и убаюкать,  
и плакало дитя, не умолкая,  
явившись у родного очага.  
Авай ушла покорно и устало,  
когда взяла ее худую руку  
судьба непоправимая, слепая...  
Сиротства доля — как полынь, горька.

Но подрастал я быстро и упрямо,  
ребячьей жаркой силой наливаясь,  
припудрен смуглой глиной нашей юрты,  
себе в беде погибнуть не веля, —  
ведь стала доброй, изобильной мамой  
ты, о земля, навеки мне родная,  
очаг мой беспредельный и уютный,  
тувинская любимая земля!

Кипучие, целебные аржааны,  
из недр твоих победно устремляясь,  
верша свой древний колдовской обычай,  
здоровью послужили, красоте.  
Могучих кедров солнечные кроны,  
широкошумно надо мной вздымаясь,  
враз осыпали лакомой добычей  
и робкий взгляд учили высоте.

Какие беды над тобой кружили,  
какие шли жестокие невзгоды —  
тысячелетней, темнотицей ратью  
судьбу твою арканом захлестнуть!  
Защитники нашлись и положили  
за будущее — молодые годы, —  
все лучшие сыны твои, араты, —  
тебе сказав: «Отчизна, в добрый путь!»

Какие ветры над тобой шумели,  
как полыхали тяжкие знамена,  
пропитанные, словно алой кровью,  
рассвета молодого красотой!

Какие битвы в честь твою гремели,  
как шли победно стройные колонны,  
неся тебе — с надеждой и любовью —  
жизнь новую и солнечный покой.

И я венец ярчайших слов сплетаю,  
взрастив их благодарною душою, —  
за все твои великие заботы,  
за то, что сохранила жизнь мою.  
Пусть никогда они не увядают,  
звуча над необъятною страной.  
Прими мою сыновнюю работу,  
земля, в которой вырос и пою!

### ЗАЧЕМ ПРИЛЕТЕЛА ТЫ?

Ласточка первая,  
птаха весенняя,  
вестница светлого воскресения  
вновь из полуденных стран прилетела.  
тысячи трудностей преодолела.

Поторопилась ты, храбрая птица!  
Видишь, как тяжкая туча клубится?  
Градом ударит  
и ливнем снесет  
перьев комочек с небесных высот.

Но отвечала певунья отважно:  
— Не самолетик я хрупкий, бумажный!  
Крепко сердечко  
и крылья быстры —  
славно в гостях у грозы,  
у сестры.

Молнии светлой лова отражение,  
в вечном стремлении,  
в вечном движении  
выстрадав звонкую песню свою,  
я к вам вернусь —  
и опять запою!

## УЧУСЬ У МАТЕРИ-ПРИРОДЫ

Природа мудрая,  
медлительный вяжатель,—  
всего земного вечный созидатель  
И человек, и звери, и цветы —  
итог ее великой простоты.

Я — человек.  
Беру холодный камень  
и в недрах камня зажигаю пламень  
стремления,  
страдания,  
бытия.  
Гори, душа бессмертная моя!  
Живи, мое дитя, мое творенье —  
скульптура,  
полотно,  
стихотворенье.

Я — мастер.  
Никогда не ошибусь,  
коль у природы-матери учусь.



*Антон УЕРЖАА*

## ДИАЛОГИ

— Скажи, Змея,  
а кем трудней на этом свете быть?  
— Я холодна:  
шипя и проклиная,  
любви и сострадания не зная,  
всю жизнь досталось мне в грязи  
ползти.  
Любить хочу,  
но ядом ненависти убиваю...  
Поверьте, нет трудней моей судьбы.

— Скажи,  
кем быть трудней на этом свете,  
Ворон?  
— Я черен,

как сама беда,  
мои не сосчитать года.  
Где все мертвы,  
там я живой — один...  
Не отыскать тебе в крыле моем седин.  
Но в мире нет судьбы трудней:  
я смерти брат, я друг войне!..  
Я весел там, где смерть и горе.  
Мне мертвечина — пир.  
Я — Ворон.

— Скажи, Осел,  
кем быть трудней на этом свете?  
— Хоть ростом мал я, но силен, как лев,  
отсюда все мои несчастья на земле:  
всю жизнь тружусь, а что в награду? Плети!  
Колючая еда да тесный хлев...  
Лишь глупость да упрямство мое видят,  
и каждый норовит меня обидеть.  
Ослом всего трудней быть на земле.

— А ты что скажешь, Человек:  
кем быть всего трудней на этом свете?  
— Я им сочувствую, несчастным. Но  
чужому чтоб не радоваться горю,  
но чтоб змеей,  
коварной и ползучей,  
не отравлять чужую жизнь,  
или не быть ослом упрямым в споре —  
быть человеком надлежит.  
И эта доля всех трудней:  
не каждый — Человек среди людей.



*Федор ПОТЫЛИЦЫН*

### СВИДАНИЕ С ТУВОЙ

Привела в Туву дорога  
и сбылись мечты и сны:  
снова слышу шум порога,  
вижу плеск родной волны.

Седину хребтов высоких,  
синь тайги, как кружева...  
Дорога в любые сроки  
ненаглядная Тува.

Можешь верить мне: я тот же.  
Вновь напьюсь твоей воды.  
Загляну в озера Тоджи,  
в золотую ширь Танды.

И на сердце тают льдинки.  
Вижу вновь во всей красе  
очи ясные тувинки,  
бусы алые в косе.

\*. \* \*

С. К. Тока

Бегут светлоструйные воды  
реки беспокойной Брени.  
Уходят в историю годы,  
мелькают, как молнии, дни.

Все так же бушует пшеница,  
черемух метель по весне.  
И словно вчера ты, как птица,  
с рассветом летишь на коне.

Копыта отстукают звонко  
лихого того скакуна  
приветствие русской девчонке,  
соседке в проеме окна.

И с завистью смотрят ребята,  
как ты, совершив разворот,  
идешь на руках акробатом  
по самому верху ворот.

Играли в Ивана Купалу,  
то всех увлекала лапта...

И в сердце твоём выростала  
о будущем светлом мечта.



## НА ПАРОМЕ

Две девчонки-выпускницы  
залетели на паром.  
Как синицы-озорницы,  
обе в платье голубом.

И вокруг все голубое —  
небо, горы и река:  
ты смотри, смотри, с тобою  
мы плывем по облакам!

Наклонился вечер летний  
над бегущею волной.  
Ждет сегодня бал последний,  
светлый, школьный, выпускной.

В счастье хочется так верить!  
Сердце бьется горячо.

Впереди — далекий берег,  
не изведанный еще.

## БАЛЛАДА О СОБАКЕ

Мороз по деревьям чеканит,  
метель косогоры метет.  
Собака в рысином капкане  
на помощь зовет и зовет.

Ее соблазнила привада  
иль так на роду суждено...  
Ты солнцу всходящему рада,  
но только не греет оно.

Давно ль за поваленным кедром  
учуяла ты шатуна  
и шла по горячему следу,  
по белке и соболю шла.

...Надеется. Ждать не устанет.  
Но только уж силы не те.  
Рыдает собака в капкане.  
Ей вторит тайга в темноте.

И счастье случилось в несчастье,  
беда не приходит одна:  
в холодное то одночасье  
щенков народила она.

Метель ей была покрывалом,  
едой ей была синева.  
Последним теплом согревала  
слепые еще существа.

...Хозяин принес избавленье  
от мук и страданий тебе.  
И только твое продолженье  
скулило тихонько в тепле.

## НА ОХОТЕ

Вновь братаюсь с синей далью,  
вновь здороваюсь с тайгой,  
что накрылась белой шалью  
в честь прихода моего.

Вот ручей неугомонный:  
позабросив все дела,  
перемыл он камень донный  
и иссох весь, добела.

Прилетел на пень из лога  
хор кедровок озорной...

Только соболь-недотрога  
где-то ходит стороной.



*Николай КУУЛАР*

## ТРОПА ЛЮБВИ

Тропой любви иду я к белой юрте.  
Но где она,  
в каком распадке дней?  
В какой степи  
твоя страна уюта?

Или  
ты мне привиделась во сне?  
И в жарко-красном лиственном обмане  
сгорит сентябрь  
над светлую рекой...  
Тропа любви скрывается в тумане,  
там летний день,  
там нежный голос твой.  
Я заблудился.  
Я в лесу осеннем.  
К земле припала неба синева.  
И на тропе любви,  
как тень сомнений,  
желтеет жухлая трава.

\* \* \*

Стелются по октябрю  
медночеканные листья.  
Травы поблекли.  
Небо,  
как выстыло.  
Весеннее слово твое —  
«люблю» —  
птицы осенние выкрали.

### В СЕРДЦЕ МОЕМ

Как громко бьют настенные часы!  
Живые капли времени стекают...  
Сгибаются под тяжестью росы  
цветы и плотно лепестки смыкают.

Смотрю на них, теряясь под луной,  
ловлю чудесный свет своей улыбки.  
Вселенная мерцает предо мной,  
гор очертанья проступают, зыбки.

И веет ветер, нежен и суров,  
и обнажает памяти глубины.  
Проснулась жизнь, заговорила кровь,  
и мы с тобой нетленны и едины.

Глаза закрою — предо мною ты.  
Моим ли сердцем бережно хранима,  
или тебя хранят мои мечты —

Но ты, сквозь ключья утреннего дыма  
ко мне опять склоняешься, тиха,  
и, улыбаясь, исчезаешь снова...

Как рыбка, бьешься в неводе стиха.  
я говорю, а ты в ответ — ни слова.

### ЛИВЕНЬ

Камчою молнии взмахнуть,  
небесный продырявив свод, —  
таков грозы обычный путь,  
известный ливню наперед.

Где неспеша журчал ручей,  
теперь, сметая все с пути,  
табун багровых лошадей,  
как бешеный, с горы летит.

Блестит под солнцем каждый лист.  
природа девственно чиста.  
Увенчан радугою лик  
Земли, прозрачна высота.  
Животворящ грозы концерт,  
где в роли первой скрипки — дождь.

И я бы стал счастливей всех,  
когда б мой стих был так хорош.



*Комбу БИЖЕК*

### МОЕ СЕРДЦЕ ХРАНИТ НАВСЕГДА

Далеко,  
как за тридевять синих морей.  
от родимых степей  
заманили меня города, —  
но в полночной тиши,  
сквозь мерцающий свет фонарей,  
светлый образ Тувы  
мое сердце хранит навсегда.



Но вырос я и повзрослел.

Сказала мама:

— Путь измерь.

В твоей душе для добрых дел  
эжик ажык!

(Открыта дверь!)

Сказала, пояс тебе:

— В звезду счастливую поверь.

И помни, сын,—

здесь для тебя

эжик ажык!

(Открыта дверь!)

Вернувшись в отчие края  
тропой побед,

тропой потерь,

вновь мамин голос слышал я:

— Эжик ажык!

(Открыта дверь!)

Летела жизнь быстрее коня!..

И не услышу я теперь

тот голос, что хранил меня:

— Эжик ажык!

(Открыта дверь!)

Родимая, благодарю!..

И вот уж сам —

в жару, в метель —

я шустрым внукам говорю:

— Эжик ажык!—

Открыта дверь!

\* \* \*

Когда,

страдая от разлуки,

мы вновь спешим в родимый дом,—  
там

постаревшей мамы

руки

нас встретят лаской и теплом.

Среди домашнего уюта

вдруг с горечью осознаем:

давно уж скрылась

детства юрта

за недоступный окоем.

И мы —  
давно уже иные.  
Мы —  
городов несем отсвет...  
Лишь руки мамины родные  
нас берегли  
сквозь толщу лет.

Пусть все, что было, — неизбежно,  
спешим, винясь,  
склониться ниц...

Но мама  
нас обнимет нежно  
и пальцами коснется лиц.

Путь отыскав  
среди тропинок,  
что протоптала жизнь  
на лбу, —  
проникнет в тайнопись морщинок,  
прочтет своих детей судьбу...

И узелком  
завяжут пальцы  
еще одной разлуки нить,  
ведь мы —  
как вечные скитальцы,  
вернулись к маме  
погостить.

## КАМЕНЬ НА ТРОПЕ

В Саянах  
легенду вот эту  
навек  
запомнили горы,  
запомнили реки,  
запомнили выси,  
запомнили дали —  
и нам,  
в назиданье,  
ее передали...

Однажды,  
от отчего дома  
                                  арат  
поехал в долину.  
                                  Он солнцу был рад.  
Он рад был дороге,  
                                  погоде чудесной,—  
поэтому  
ехал с негромкою песней.  
В такт песне  
стучали копыта коня.  
И песня  
                                  взлетала  
                                  в сияние дня!

Тут видит арат —  
                                  на тропе  
                                  впереди  
чернеющий камень лежит на пути:  
скатился со склона горы этот камень.  
Сойти бы с коня да откинуть руками...

Арат поленился и... камень объехал,  
мол, то —  
                                  небольшая на тропке помеха.  
И снова он  
                                  с песней  
                                  дорогою длинной  
поехал...

День солнечный плыл над долиной.

Вдруг видит арат:  
                                  вражьи орды  
                                  навстречу,  
как туча, пророча кровавую сечу!  
И конь захрапел,  
                                  будто встретил воочью  
огромную стаю — клыкастую,  
                                  волчью.

Враги их заметили.  
                                  Вздыбились кони!..  
И все же арат ускакал от погони.



Теперь —  
мчатъ скорее  
по горной дороге,  
чтоб только успеть  
всех поднять по тревоге?  
Чтоб дети и женщины, старцы седые  
уйти бы успели в Саяны родные.  
И чтобы  
батыры  
успели взять в руки —  
мечи острой стали и меткие луки!..

Арата-гонца  
ждет предательски камень,  
что не был откинут с дороги руками.

Конь  
сходу  
о камень  
сломал свою ногу  
и падает вместе с гонцом за дорогу!..

Когда тот очнулся,  
открыв снова очи —  
все небо  
усеяно звездами ночи.  
И скорбно чернеют саянские горы  
от смерти тувинцев,  
от черного горя.

Арат  
из-под лошади  
вытащил ногу  
и вышел,  
хромая,  
опять на дорогу.  
Он к дому пошел —  
со слезами,  
со стоном.

...Костер догорал.  
Тот, что был его домом.  
В предсмертных мучениях  
лошади ржали.



Дети прошли в то утро,  
канули без следа:  
неизвестно откуда  
и неизвестно куда...

\* \* \*

Мне снилось, что велосипед украли.  
Рванули его дерзко от стены.  
Мне снилось: нажимая на педали,  
на нем умчались в детство пацаны.

Велосипед мой — прошлого наследство.  
Я верю, хоть потерял он во сне:  
на нем примчатся пацаны из детства  
и прислонят опять его к стене.

— Напрасно ждешь, — мне из толпы кричат. —  
Из снов и детства нет путей назад...

\* \* \*

Собаки гнали тишину  
по длинным улицам поселка.  
И лай остервенелый долго  
метался от окна к окну.

А тишина неторопливо  
сползла в болотистый овраг.  
Ее ничуть не удивила  
тоска полночная собак.

\* \* \*

Выпали в осадок дни  
те, что счастье принесли нам.  
Зло и трезво посмотри  
в лица пролетевшим зимам.

Зло и трезво усмехнись  
нашим радостям никчемным.  
Так бывает, если жизнь,  
упадет с небес на землю.

\* \* \*

Вновь пишу я адрес на конверте.  
Каждый день — письмо.  
И каждый день — ответ.  
Каждый день.  
Но только мне не верьте.  
Я пишу,  
а мне ответа нет.

Нет ответа — черное молчанье.  
Нет ответа.  
Но ведь это ложь.  
Нет ответа — есть воспоминанья,  
по которым ты со мной идешь.

\* \* \*

Я в жизни — грешник, ты — святой.  
Ты бредишь небом, я — землей.

Хотя полет затянут слишком,  
но ты опять, судьбе назло,  
рисуешь в небе, как мальчишка,  
чтоб на земле мне повезло.



*Анатолий ШКОРКИН*

## РАССВЕТ

Рассвета кисть прорисовала горы,  
роскошным жестом высветлила лес,—  
здесь на душе тревожно и просторно,  
и нереально, как в стране чудес.

Сюда бежим от сутолоки будней  
постичь премудрость раннего утра,  
помешивая тлеющие угли  
вчерашнего полночного костра.

До откровенья обостренным чувствам  
доступна суть добра и красоты,—

возвысится до степени искусства  
чуть слышный звук падения листвы.

И возвращаемся по свежим росам  
к привычным лицам, взглядам, голосам  
решать неразрешимые вопросы,  
творить добро и верить чудесам.

## УТРО

Сколько минуло зим,  
сколько схлынуло весен...  
Только солнце, как прежде,  
нещадно палит,  
все сильнее и сильнее  
разгораясь над плесом;  
да по-прежнему в небе  
кричат журавли.

Попрошу я шофера  
чуток задержаться  
вот на этой,  
ничем не приметной версте.  
Я смешным не боюсь ни ему,  
ни себе показаться,  
прижимаясь щекою  
к сухой бересте.

Будто руки,  
восторженно  
вскинуты ветви,—  
горький привкус листвы  
на горячих губах.  
Не таким ли вот утром,  
пронзительно-светлым,  
позвала нас с тобой  
полковая труба?..

Да, не всем суждено  
возвратиться  
к березовым рощам,  
окупаться в купель  
молодой лебеды.

И моим одногодкам порой  
приходилось не проще,  
пусть рожала их мать  
не под знаком беды.

Снятся сверстники мне  
с повидавшими виды  
глазами,  
с серебром генеральским  
на юных висках, —  
кто ушел навсегда  
в уссурийскую  
снежную замать,  
кто — комбатом  
в остывших  
афганских песках...

\* \* \*

Не дается нам счастье на вырост,  
на подарки судьба не щедра.  
Удивительно быстро он вырос,  
этот клен в глубине двора.

Сохранилось с десятков пластинок,  
и среди пожелтевших бумаг  
фотография Робертино,  
что сводил одноклассниц с ума.

Под вращенье потертого диска  
возвращаются годы назад,  
итальянского мальчика дискант  
и влюбленной девчонки глаза.

\* \* \*

Еще не осень, но уже не лето:  
по вечерам студенее роса,  
все глуше, глуше в тишине рассвета  
простуженные птичьи голоса.

А до звезды, до самой-самой дальней,  
как до тебя — лишь руку протяни.  
И все мигают на ветру печально  
осинника прощальные огни.

Кто не мечтал из нас о дальних странах,  
 открытый жажду в сердце не берег?!  
 Но чаще в приключенческих романах  
 мы черпали романтику дорог,  
 глотали горький дым горящих прерий,  
 брели тропой последних могикан...  
 И каждый из мальчишек свято верил  
 в еще не покоренный океан,  
 в свою звезду, в бушующие мили...  
 От подвигов кружилась голова.  
 А по ночам с восторгом заносили  
 в тетрадки сокровенные слова.

Лежат на дне укромных чемоданов  
 останками разбитых каравелл  
 сюжеты ненаписанных романов,  
 страницы неоконченных новелл.



*Ховалыг АРТЫК*

## ЗЕМНАЯ СИЛА

Беспечное детство мое пролетело в горах,  
 где стройные сосны с кудрявою кроной густою.  
 Я слушала пение гор и на первых порах  
 писала стихи о них с детской любовью простою.

Там ливни хлестали, с грозой налетал ураган,  
 ревела тайга, но держала экзамен на стойкость.  
 Сгибали сосенки певучий девический стан,—  
 но их не сломила ни та, ни другая жестокость.

Они не покинули милой, родной им земли,  
 и, их вспоминая, пытаюсь я с ними сравниться:  
 извне поэтический дар и талант не пришли,  
 сумели они из земли моих предков пробиться.

Ведь сосны и пихты берут себе пищу в земле  
 и силушку реки в моря из земли добавляют.  
 И, потом пропитанной, нету земли мне милей,  
 чем эта, которая стих своей силой питает.

И падают звезды на землю осенней порой,  
и с ними на землю дождем семена опадают.  
И песня моя прорастает пахучей кедрой,  
которая силу от теплой земли набирает.

### МЫСЛИ ПОЭТА

На вечном небе мерцают звезды —  
днем людям звездный не виден свет.  
Но я их вижу, как ночью поздней:  
в них — мое сердце, другого нет.

А небо плачет — я тоже плачу:  
в дождинке каждой — моя слеза.  
И мысли в небе земные — значит,  
я — хоть немного, чуть-чуть — гроза.

И в урагане, и в птичьем смехе,  
и даже если поет прибой,  
и в горном эхе — я слышу эхо  
своей души и голос свой.

Дороги жизни пестры от цвета:  
цвет горя, радости... Все мне одной  
знакомо, — я ведь не часть планеты,  
а воплощаю весь шар земной.



*Юрий ВОТЯКОВ*

### НА СЕРОМ АСФАЛЬТЕ

*(Городские контрасты)*

1

По асфальту серому  
ходим мы и ездим.  
По асфальту серому  
носим детство в сердце.  
Искрами зелеными вспыхивает память...  
Детство — наше личное  
маленькое знамя.



Мы его в себе несем  
через все напасти.  
Детство — островок любви.  
Детство — остров счастья.

Канет этот остров  
в омуте забот.  
В океане жизни взрослость приплывет.  
И на этом старом  
гулком корабле  
мы плывем к далекой призрачной земле.

И другое счастье  
ловим, как жар-птицу...  
Детства островок любви  
по ночам лишь снится.

2

Стоят дома,  
прижатые друг к другу,  
спина к спине,  
бок о бок,  
словно в драке.

И в этой каменно-бетонной давке  
деревья к небесам вздымают руки.  
Им тесно,  
но им надобно прижиться,  
через асфальт,  
вцепившись в землю,  
выжить...  
Деревья —  
царство птичьих хижин  
и осени прозрачные звонницы.

А люди, в большинстве,  
проходят мимо,  
спешат в дома,  
в бетонный свой уют,  
но есть и те,  
которым нестерпимо  
смотреть,  
как трудно деревья живут.

Но мало их —  
болеющих душою,  
за сад, за землю,  
за сирени куст...  
Стоят дома, довольные собою,  
а двор, закатанный асфальтом,  
пуст.

3

Начинается время разлуки...  
Бродит ветер,  
железом гремя.  
Отливаются сталью пронзительной сутки  
и тоскою закаты дымят.

Начинается время разлуки...  
Разлучается лето с землей.  
И неясные тайные звуки  
ловит слух растревоженный мой.  
И какие-то тайные знаки  
брезжат светом  
в дождливой дали.  
И крадутся неясные страхи.  
И, прощаясь,  
кричат журавли.

И дымятся кленовые листья,  
красным дымом,  
желанием — быть.  
И летят, опаленные высью,  
на аллеи и тропы судьбы.

4

Зеленые кроны насквозь проржавели  
и ржавые листья на землю роняют...  
Скрипят отрешенно пустые качели.  
И дети в песке не играют.

А солнце еще не завешено хмарью,  
но светит и греет,  
так скупо, так немо...

Во льду целлофановом хризантемы  
и астры в кувшинах  
стоят на асфальте.

Торговка твердит,  
что кончается осень,  
что это цветы самых поздних цветений...  
И люди,  
к груди прижимая, уносят  
последние астры и хризантемы.

5

На диск Луны  
земная тень легла.  
И в полночь лунного затмения  
просил — кто славы, кто прощенья,  
а я лишь хлеба и тепла.

А поутру,  
когда восход  
окрасит красным кроны сосен,  
кто славы, кто спасенья просят,  
а я лишь хлеба и тепла.  
И полыхнул закат в озоновые стекла.  
И бабочки ночной  
наметился полет.  
И, как трава росой,  
глаза тоской намокли...  
Упала на асфальт  
дневная синь высот.

Парадоксальность дьявольского века —  
я одинок  
и я не одинок.  
Душа моя — и устье, и исток.  
Палаты боли,  
балаганы смеха.

Я хохочу, и смех мой  
переходит в стон.  
Я застонал  
и содрогнулся смехом.  
А в окнах  
алый плещется озон.  
И проступают очертанья человека.

В белом сне закружились деревья  
и размыты фигуры людей.  
Белый сон,  
как предания, древний...  
Белый сон,  
белый снег,  
белый день.

Я по белому снегу иду,  
удлиняются к вечеру тени.  
Белый день в театральном саду,—  
только сон моего возвращенья.  
Не вернуться туда... Не ступить  
на аллеи хрустящего снега,  
все спешу, все бегут верстовые столбы  
дней моих... и конца не видать бегу.

Все спешим, суетимся, все гоним...  
Оглянуться — да времени нет.  
А когда о душе своей вспомним —  
там давно уже кружится снег.



*Кондратий ЕМЕЛЬЯНОВ*

\* \* \*

Памяти Л. Б. ЧАДАМБА

Улетят облака. Остальное останется с нами.  
Прозвонят облака, и глаза вознесутся в предел.  
Не сумели когда-то мы стать навсегда облаками,  
не сумеем поэтому стать выше собственных дел.

Улетят облака навсегда, только что станет с нами?  
В небе коршун отчертит спирали стальные круги.  
Невозможно нести вместо сердца за пазухой камень,  
даже если ты знаешь, что рядом восходят враги.

Прозвонят облака, и к беде прикоснутся сердцами  
люди близкие мыслью, которые тонут в пыли.  
Эта горечь земная ползет по степи облаками,  
да не теми; не любят спускаться с небес журавли.

## РОВЕСНИКУ

В этот солнечный мир,  
мир, который любил,—  
ты не можешь его не любить,—  
многое не понять, многое не простить  
и для многого нет уже сил,—  
в этот солнечный мир взглядись.  
И увидишь ты, что в синеву глубоко,  
как осколок, вошел обелиск:  
он тяжел и остер,  
и бока облаков  
разрезает доньне; что синь —  
раньше жаркая кровь  
полковых медсестер,  
перелитая в вены могил.

В эту старую землю взглядись,  
и увидишь ты, что невозможно забыть,  
так же, как невозможно простить  
правду каждого дня,  
что земля, как вдова,  
ордена и медали надежно хранит.  
Этой вечной вдове поклонись.

И еще — оглянись,  
вспомни их имена,  
тех, кто рядом прошел и забыт:  
и поймешь: убивал  
их наш проклятый быт,  
на котором судьбу ты свою создавал.  
Непростителен этот стыд.

И еще оглянись, и у друга спроси,  
для чего он жизнь отдавал?  
Только друг мой молчит:

он был тупо убит,  
ни за что. И забыт. Забыт.

Только я не забыл  
правду каждого дня.  
Верю в то, что все впереди:  
что во все времена  
по дорогам страны  
будут вечно ходить  
люди вечной войны.  
Ты взглядись в этот солнечный мир.

## ЧЕСТЬ

Скрывая веру от чужих неверий,  
не прячь глаза: да будешь ты раним.  
Чужую слабость ровным взглядом смеряй:  
пусть совесть верность чести сохранит.

И если сам не в силах жить по правде,  
не прячь глаза: у сердца нет брони.  
Все замечай, запоминай и ради  
других людей ты честь свою храни.

Уйдет любовь с изменами, без права  
на твой позор, тебя же оскорбит.  
Всегда смотри в глаза ее на равных:  
пусть память верность чести сохранит.

И если друг предательством помечен,  
не отводи глаза, в глаза смотри.  
Он был тобой, с тобой пребудет вечно.  
Не мсти ему, но честь свою храни.



*Игорь ИРГИТ*

## СНЕЖНЫЙ БАРС

Услышишь: взревет где-то басом,  
аж скалы вздрогнут опять,—  
и сразу никак не понять,  
что сердце снежного барса  
человеческому подстать.

Сегодня с добычей охотник.  
Он сыт, он доволен сам.  
И с незнакомцем охотно  
разделит ее пополам.  
Он бодрый, хотя и усталый.  
Счастливое сердце поет...  
И барс человеку оставит  
добычу, а сам — уйдет.

Хороший хозяин не станет  
дом покидать на позор.

И барс никогда не оставит  
снежных, высоких гор.  
Все здесь родное, все свято —  
знает он наперед.  
Здесь он родился когда-то,  
здесь он когда-то умрет.

Человек устремляется гордо  
к вершинам своей мечты.  
Барс тоже стремится в горы,  
он не предаст высоты.  
И оба дорогою длинной  
с вершин не сойдут никогда:  
доступны обоим вершины,  
доступна любая звезда.

Душа, как у человека:  
ты сильный и добрый, барс...

Гуляет над скалами эхо,  
разносит могучий бас.

\* \* \*

Эне-Сай, мать рек, ты чудо!  
Берегов твоих дары,  
в чащах светятся повсюду  
облепиховы костры.

И горит спокойно, тихо  
светлорыжий их наряд...  
Облепиха, облепиха,  
мой тувинский виноград.

Чаща, лес. Да, в непогоду  
нелегко пройти сюда.  
Но лишь осень — и приходит  
мать солдатская, седа,  
грустно, как сама беда.

Здесь, в чащобах, так нарядно.  
Загляденье — каждый куст!  
Позабыв былую радость,  
умеряя в сердце грусть,  
наберет лишь горстку ягод —  
и уйдет в обратный путь.

Помнит: в год беды бездонной  
уходил сын на войну.  
С жесткой маминой ладони  
съел лишь горсточку одну.  
И лежит он, сокол милый,  
на Украине — солдат...  
Облепихой над могилой  
свесил гроздь виноград.

Только мать, тоску ругая,  
на могилу не придет...  
Знает: женщина другая  
горстку ягод соберет  
и на холмик их положит:  
«Спи, родной, спокойным сном...»

Мать стара. Она не может  
к сыну мчаться скакуном  
и вспорхнуть не может птицей.  
Все вокруг темно, черно...  
Ночь, а матери не спится.  
Мать — с бедою все равно.

Лишь одна мечта у старой:  
может, сын еще придет?  
И сидит она устало,  
горьку ягоду жует.

Только что ей эта горечь  
среди бессонных-то ночей:  
что там горечь, если горе  
этой горечи горчей.

Не ослепит светом радуга,  
не оглушит гром-набат...

Облепиха, желта ягода,  
облепиха, вдовья ягода,  
рыжие костры горят...

Облепиха, кисла ягода.  
Мой тувинский виноград.





**СЧАСТЬЕ**

Какое счастье  
в этом мире жить,  
где каждая травинка  
говорлива,  
и всей душой ликующей  
любить  
родную землю,  
речку, эти ивы.

Любить колосьев желтых  
голоса,  
когда ласкает ветер  
их головки,  
а утром ранним  
падает роса  
и прилетают  
«божии коровки».

...Где солнце золотое  
не угаснет,  
протянет луч  
за горные хребты.  
Где следопыт-таежник  
не устанет  
искать на тропах  
легкие следы.  
Где древние  
так молчаливы скалы:  
хранят в пещерах  
тайну прошлых лет...  
Там, где орлы седые  
спят устало,  
обогревая под крылом  
орлят.  
Там темнотой налиты  
неба своды  
и звезды быстро падают  
туда,  
где Енисей  
спокойно катит воды  
и под луной сверкает,  
как слюда.

Всю жизнь хочу  
любовью дорожить  
природы мудрой  
и ее детей.  
Я каждый миг свой  
благодарна ей  
за счастье  
в этом добром мире жить.

\* \* \*

Рано утром, на птичьей зорьке  
жди меня, быstroногий скакун.  
По лугам серебристым, росистым  
мы помчимся в страну Кунгуртуг!

Высекая копытами искры,  
буйной гривой касаясь небес,  
мы помчимся в страну голубую,  
мы помчимся в страну Кунгуртуг!

Там тебя шелковистой травую  
накормлю, напою из рук,  
и уйду в свое светлое детство.  
Ты останься меня поджидать.

Хорошо в предрассветных мечтаньях  
сон увидеть об этой стране.  
Только жаль, что уже на рассвете  
ты, скакун, не разбудишь меня.

\* \* \*

За окном синий-синий вечер.  
За окном синих сумерек тьма.  
И, синяя, рождаются звезды.  
Синим цветом полна река.  
Синий свет мне в глаза струится.  
В этой комнате синие сны...  
Может, мне, кареглазой девчонке,  
синей влагой изменит глаза?

## ЖИЗНЬ

- Жизнь без чего скучна?
- Без смеха юности.
- Жизнь без чего грустна?
- Без мамы нежной.
- Жизнь без чего пуста?
- Без ласки милой.
- Жизнь без чего страшна?
- Без дружбы верной.

## СНЕГ

Сегодня снова снег,  
как сотни лет назад.  
И кружится Земля,  
как прежде, не одна;  
Вселенная полна  
сияния планет,  
но только на Земле  
одной живет народ.

Сегодня снова снег  
как сотни лет назад,  
и Новый год идет  
по вековой тропе.  
Свет чистых зимних звезд.  
Рождающийся день.  
Но как же — может быть,  
последним станет он!

На матери Земле  
достаточно «добра» —  
такого, что взорвать  
ее готово вмиг.  
Не будет ничего.  
Не станет никого.  
Исчезновенья звезд  
не замечает мир.

Давайте всей Землей  
под новогодний звон  
мы выскажем одну  
единственную мысль:

чтоб не было войны,  
чтоб детям не болеть,  
чтоб этот год не стал  
последним для Земли.



*Александр САПЕЛКИН*

### ТРАКТ

Дорогой горной,  
где укатан гравий,  
и стелются туманом облака,  
где пыль,  
взметенная грузовиками,  
меняет цвет  
зеленого листка.

Там  
птицей мчится  
эхо над горами,  
а ближе к ночи  
сон глаза слепит.  
И замер тракт,  
и, вместе с шоферáми,  
тревожно вздрагивая,  
спит.

А рано утром  
загудят моторы,  
Саянский тракт  
очнется ото сна.  
И, как всегда,  
помчится эхо в горы,  
работой захлестнется  
тишина.

\* \* \*

Резких поворотов хочу,  
резких.  
В плавные  
не верю за округлость.

Жизнь хочу познать  
и мир объездить...  
Нервов чувствовать  
хочу упругость...

...Помню,  
в темноте промчался всадник.  
Цокот иноходца оборвали ветры.  
И поныне душу мою саднит,  
что себя преодолеть промедлил.

Наплывал рассвет на темень ночи.  
Уходила тишина водою в сито.  
И рождались звуки у обочин.  
Памятью был каждый звук сосчитан.

Только цокот,  
среди звуков новых,  
много дней услышать я не мог,  
много дней  
был ожиданьем скован,  
жил в плену сомнений и тревог.

Солнце поднималось алым бубном.  
Сердце обожгла внезапно боль.  
Всадник ускакал — его не будет.  
Мой покой  
он  
взял с собой...

### НЕНАДОЛГО...

На Полюс. На Северный полюс и Южный  
уйду. Пусть не сетуют мать и жена.  
Прости за разлуку, но мне очень нужно  
свой полюс увидеть.  
Глазами.  
Сполна.

Я расстанусь с вами ненадолго.  
В память обо мне остался сын.  
Ты прости, родная, но я должен  
Полюс покорить, хотя б один.

Я расстался с вами ненадолго.  
И мой сын, наверное, подрос.  
Я пишу вам письма, да вот только  
Мне бумагой... ледяной торос.

Параллель от параллели так далеко...  
Между ними затерялась где-то жизнь.  
Стали по сердцу хлестать, как будто плеткой,  
ложных горизонтов миражи.

Расставался с вами ненадолго,  
а случилось так,  
что вырос  
сын.  
Верю я, что путь он мой продолжит, —  
юности моей он видит сны.

## ТУВЕ

На вертолете  
и четырех лайнерах  
с пересадками  
от тебя, Тува,  
я улетел —  
как в дальнее плаванье —  
на арктические острова.

И приземлился  
в Чукотском море,  
на Колючийн —  
островок с ноготок:  
в длину, ширину —  
как будто каморка,  
но в высоту  
небосвод — потолок.

Ты не серчай.  
Мой отъезд — не измена:  
жажда познания  
далеких широт.  
Вот и Чукотка —  
тебе на смену,  
новые земли, новый народ...

Только вот память  
бредит тобою :  
зимник на Тоджу,  
трассы Саян...  
Жизнь на колесах  
связала с Тувою...  
Я возвращусь,  
родная моя.

\* \* \*

Я не верю в приметы  
и шальные удачи.  
Верю в мускулы, нервы,  
мозг проверенный мой.  
Мне от жизни не надо  
дешевых подачек.  
Пусть она осчастливит  
меня трудной судьбой.

Пусть она  
мне в дорогу  
подарит свой компас,  
чтоб, с пути не сбиваясь,  
я мог дальше идти,  
а зовущий на помощь  
из пропасти возглас  
пусть пронзит, не жалея,  
мое сердце в груди.

Я найду в себе силы...  
Пусть пока неудачи.  
Час придет, и откликнусь  
я на голос живой.

Мне не надо от жизни  
дешевых подачек.  
Пусть она осчастливит  
меня трудной судьбой.

АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ КРОМ — вызылчанин, окончил школу № 14. Студент Иркутского государственного педагогического института имени Хошимина. В настоящее время служит в Советской Армии.

*Антон КРОМ*

### СОЛНЦЕ

Души сжигая водород,  
бросает Солнце жизнь на лед  
и жарит, хочет разогреть  
бесчувственную плоть планет.  
Оно — поэт,  
и, как монах,  
себя веригами комет  
бичует.  
Но где же смысл?  
Ведь тлен и прах  
итогом будут.

...Иль где-то зародится жизнь?

### ВСЕГО ЛИШЬ СОН

Памяти отца

Тихонько дождь мне напевает блюз,  
и я открыть глаза не тороплюсь.  
Глоताю грусти мед — озон.  
Всего лишь сон.  
Всего лишь сон.

...Вот я тебе зарююсь в бороду  
и мы пойдем гулять по городу.



Отшлепав лужи, как шумящих деток,  
мы на скамейку сядем где-то,  
а с листьев капли будут капать:  
па-па-па-па, па-па, папа...  
Вдруг ставни хлопнули — и в путь  
седая птица Невернуть  
ушла. Туман.  
Проснулся я.

Как старая пластинка, дождь шипит.  
Усталый негр в свой микрофон хрипит.  
Философ, тихо дышит саксофон:  
— Всего лишь сон...  
Всего лишь сон...



ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛОДЕ-  
ДОВ — учитель русского языка и литературы  
в Сукпакской средней школе Кызылского рай-  
она. Родом из Омска, там четыре года назад  
окончил педагогический институт. Писать  
всерьез начал в Туве.

*Валерий БЕЛОДЕДОВ*

## МИР ПРИРОДЫ

Торжественен и непоколебим  
в недолгий час заката  
вид розового неба  
и синих снежных гор.  
И успокаивается человек,  
не в силах сотворить себе кумира  
достойнее всей этой красоты.

Вдруг ветер нервный,  
будто дирижер,  
взмахнул сердито ветками деревьев,  
и все вокруг  
грохочет в ритме  
реквиема бури.

Аплодисменты словно,  
сорванные листья  
переплетаются с людскими мыслями,  
несутся в смерче,  
яростно и слепо —  
все рукоплещет.

Но вихрь стихает,  
и земля устало  
закутается в одеяло ночи.  
Взлетают вверх  
и кружатся меж звезд  
смешные искорки костра на берегу.  
Вокруг него лежит и дремлет  
огромный  
нераскрытый  
мир природы.

\* \* \*

Тусклое утро.  
За синим окошком  
мягко, неслышно  
падает снег.  
Где-то запахло  
печью и хлебом —  
там воскресенье.  
Белой дорогой  
по белому полю  
в детство вернулся.

\* \* \*

Мой мир —  
огромное заснеженное поле.  
Вокруг все неподвижно.  
И лишь обледеневшие деревья  
по сторонам дороги белой  
хранят воспоминанье о дожде.

\* \* \*

Я не понимаю «Герники».  
Но я много слышал о войне.  
ЕЕ я не понимаю еще больше.



ИННА ПАВЛОВНА ДУБНИКОВА, как и  
ее мать, Галина Ивановна Принцева, пишет  
стихи со школьных лет. Живет в Кызыле.

*Инна ДУБНИКОВА*

## МОЙ КАЛЕНДАРЬ

Вот август —  
алое лето.  
Какой ненасытной синью  
смеется гордое небо  
над рыжей сухой полынью!  
Какие жаркие руки  
летят, словно птичьи крылья,  
над темной памятью мертвых,  
истлевших под древней пылью...

Мой август,  
алое лето —  
светлой воде пролиться  
до капли, последней и ясной.

Лето не повторится.  
Алое, алое лето...

\* \* \*

Смеется белый снег —  
пришла зима.  
На птиц и на людей  
упала стужа.  
Душе озябшей  
дом просторный нужен,  
чтоб кровом стать  
она смогла сама.

\* \* \*

Мой зеленый июль!  
Мое лето и звонкие осы.  
В эту зиму войти —  
как далекий порог перейти.

И блестят в Новый год  
разноцветные ломкие росы,  
и серебряный дождь  
на озябшие руки летит.  
Мой зеленый июль!  
В россыпь блеска, надежды и смеха  
ты приходишь один,  
неподкупно уходишь один.  
И прозрачны глаза.  
На губах — только легкое эхо  
звонких слов, что летели  
в безоглядную летнюю синь.

### КУСТ

Ах, куст струился,  
куст с водой бежал,  
куст брызгал в лужи,  
истончался в пенье  
и гибкими ветвями ликовал...

Из счастья и страданий то цветенье —  
цветы невзрачны  
и цветы бледны,  
и памятью усталую полны  
о жажде,  
о сухой горячей жажде,  
которая была уже —  
однажды,  
и снова повторится —  
может быть.

Но снова ливень —  
ласковый и чистый —  
к остаткам жизни,  
торопясь, придет,  
цветением извечным упадет  
на черные, сухие, злые листья.

Из пустоты,  
мертвящей и сухой,  
хочу уйти  
в ненастные просторы,  
где дышит небо,  
отцветают горы  
последнею дневной голубизной.

Билигийн НОРОВ

### ЦВЕТИ И ЗДРАВСТВУЙ

Легенды древние седых степей,  
над ними — гор бессменные дозоры,  
и Енисей, поющий свой хоомей,  
и, в зелени, таежные просторы,  
и речек шелковая синева —  
ты не скучала без меня, Тува?  
Я снова о тебе стихи слагаю:  
Тува, цветы и здравствуй, дорогая!

Из горных извлекающий пород  
сокровища, хранимые веками,  
моря творящий там,  
где был песок да камень,  
твой вечносозидающий народ,  
и ты сама — как сказочный дворец...  
Откроешь мне заветный свой ларец?  
Любовь к тебе в стихах я излагаю:  
Тува, цветы и здравствуй, дорогая!

Живи и здравствуй, братская семья  
народов, в этой юрте белостенной,  
где вековой мечты благословенной  
живое воплощение вижу я.  
Ты — словно в сердце Азии звезда...  
Прекрасна будь и счастлива всегда!  
Тебе я стих и сердце предлагаю:  
Тува, цветы и здравствуй, дорогая!



## **ЗИМА В САЯНАХ**

Рукотворный шелк дороги белой  
снежные вершины обвивает,  
по крутым уступам вьется смело  
и меня в Саяны поднимает.

Все белым-белы зимой Саяны:  
небо, снег... Белее не бывает!  
Только шуба серого тумана  
старцев-горы нежно согревает.

Посмотрите: красная лисица  
на снегу искрящемся резвится!  
А из облаков лениво солнце  
смотрит, как красавица — в оконце.

А березы в белых покрывалах  
от чужого взора затаились:  
ветер дунул — выглянули — скрылись,  
тонких веточек — как не бывало!

Сосны тоже здесь белобороды,  
словно мудрые деды седые,  
и, в глубокой думе благородной,  
смотрят далеко, в края степные.

Высоки их снеговые шапки.  
Ветер налетит — они качнутся,  
Искры инея, как будто капли  
слез блистающих, с ветвей прольются.

Чудесам природы подивись ты!  
Вот закат горит, светло и странно:  
на вершине ободок лучистый,  
как венец на голове Саяна!

Все белым-бело: и снег, и небо.  
Сероватый, лишь туман клубится.  
А зима — вот это мастерица!  
Поучиться у нее и мне бы.



## ПО НЕЖНОФИОЛЕТОВЫМ СНЕГАМ

Где сарлыки по снежным плоскогорьям,  
как тучи, ходят, добывая корм,  
где ветры зимние, с весною споря,  
все не ослабевают до сих пор,  
где нежнофиолетовые тени  
сплетаются в снегу, как кружева,  
где, верно, не слышали о сирени  
и странно снег сиреневым назвать,—

вот там видна весенняя стоянка:  
две юрты возле склона — видишь? Там  
немолодая строгая крестьянка  
неслыханную песню спела нам.  
Была тувинской песня, без сомненья,  
но мы в Туве не слышали такой.  
И, торопясь остановить мгновенье,  
бегут в блокноте строчки под рукой.

Пора нам в путь.  
Немного поскитаться,  
степных кочевий познавая вкус,  
и, наконец, попасть... на вечер танцев,  
в гремящий зал в сомоне Улан-Хус.  
Росла там, верно, Красная Береза —  
осталась звонким именем в веках...

Взгляни, какие ветровые розы  
цветут весной на девичьих щеках!  
Девчонкам, то стеснительным, то смелым,  
вся ширь степей для танцев отдана,  
где над сиреневым монгольским снегом,  
желта, плывет казахская луна.  
И, как луна, открыто и без фальши  
плывут они, кружат под гром и гам...

А нам опять пора.  
Нам дальше, дальше  
по нежнофиолетовым снегам.

1987, март. Баян-Ульгийский аймак МНР.

Надежда АНТУФЬЕВА

## ЧЕЛОВЕК, СПЕШАЩИЙ В ЗАВТРА

(Очерк)

Каждый раз, встречаясь с этим человеком, испытываю и радость, и восхищение, и горечь, и стыд. Почему? Давайте не буду объяснять сразу, а просто познакомлю с ним. Может быть, тогда вы ощутите похожие чувства, а может быть — прямо противоположные. Что ж, меня это не удивит, ведь и сейчас у тех, кто сталкивался с моим героем, отношение к нему и его делу очень и очень разное.

Мы познакомились больше года назад. Вроде бы, небольшой срок, но он покажется огромным, если знать, что все это время комсомолец Алексей Свирицкий, военный служащий, упорно борется с врагом, которого он сам называл так — «нехотение работать».

Оговорившись, он употребил именно это грамматически неправильное слово, и я, подумав, не стала менять его на правильное, благозвучное — «нежелание». Потому, что услышала в корявом «нехотении» и детско-капризное, уверенное в своей безнаказанности «не хочу — и не буду», и ржавый скрежет устаревшего бюрократического механизма.

История этого затянувшегося сражения началась, когда, открыв газету «Тувинская правда», Алексей увидел в ней объявление о том, что накануне сессии городского Совета народных депутатов в горисполкоме ждут кызылчан с предложениями, жалобами.

Объявление это оказалось для него весьма кстати — давно уже хотелось поделиться тем, что волновало и его, и соседей — жителей «поселка», как называли они район улиц Фрунзе — Карбышева — Маяковского. Хоть и был он частью города, но состоящий из длинных рядов одноэтажных домов с огородами, ограниченных с одной стороны полем ипподрома, с другой — автотрассой, воспринимался действительно несколько изолированной территорией со своим магазином, почтой, маршрутом авто-



буса и своими проблемами. Этих проблем накопилось довольно много: и заброшенные колонки, и неудобный для школьников и взрослых маршрут автобуса, и недействующие телефоны-автоматы, и разобранная на досточки агитплощадка, и недостаток необходимых продуктов в магазине, и... Все это жители не раз обсуждали между собой, даже несколько раз жалобы писали, но ничего не менялось.

А тут как раз совпало — объявление это, и отпуск у Алексея как раз. Решил взять на себя хлопоты об общих бедах — люди на работе заняты, а у него пока время свободное есть.

Истари на Руси были ходатаи по общим делам. Мне образ такого ходока рисуется наиболее отчетливо по некрасовскому «Размышлению у парадного подъезда». Пропыленные бороды, котомки, рваное платье, снятые в поклоне шапки — внешние приметы, ушедшие вместе со временем. Но мне кажется, и у тех, спинувших на чужбине в бесплодных попытках найти правду для пославшего «мира», и у тех, чье сердце сегодня болит не о своих личных заботах, есть неуходящее единое — совесть. Тревожащая, беспокоящая, не позволяющая отступить, если на тебя надеются, верят тебе люди, если ты им обещал.

И поэтому Алексей упорно шел из кабинета в кабинет. В одних его слушали внимательно, в других, мягко говоря, не очень, в третьих просили изложить письменно. Вот и отпуск, посвященный «изучению» первого, затем второго этажа здания кончился, и он с удивлением обнаружил: все его хождения закончились... ничем. Ни на один из вопросов он так и не получил конкретного делового ответа. Хотелось махнуть рукой. Что у него своих дел, что ли, нет? Но соседи при встрече, зная о взятых им на себя добровольных обязательствах, спрашивали: «Ну как, Алеша?» Дома жена Лариса вздыхала: «Бесполезно все. Сколько жильцы писали... Не верится уже...»

А он хотел доказать — надо верить. Он ссылаясь на решения партии, говорил о перестройке. Кое-кто откровенничал:

— Перестройка-то перестройкой, только когда она до нас дойдет, да и ты-то тут причем? Твое дело маленькое.

Даже те, чьи проблемы он брался решать, хоть и были признательны, но не всегда понимали: «Зачем ему это надо?»

Помню беседу с заведующей детским садом № 27 — Алексея особенно беспокоило, что полгода в нем, расположенном на окраине города, не работает телефон. Из-за этого столько трудностей у воспитателей, родителей. Не разрешают, например, открыть круглосуточную группу: а если что с детьми случится?

И Алексей начинает почти детективное расследование, выясняет, кто оборвал, затем благополучно закопал кабель; ходит, звонит, надевает, требует. Зачем?

— Может, потому, что жена здесь воспитательницей и сын в наш садик ходит? — пытается объяснить заведующая. Но тут же соглашается

со мной — это не причина. Не у одного Алексея здесь работает жена, и пап-родителей у садика сотни. А ведь взволновало-то только его. Почему?

— Сама удивляюсь,— недоумевала заведующая.— Видимо, человек такой.

Такой человек. Нет, не объяснишь с привычной обывательской позиции его поступки. Если еще хлопоты о садике, благоустройстве микрорайона можно как-то понять — улучшения здесь коснутся, в той или иной степени, и его семьи, и знакомых-соседей, то какое ему дело до совершенно посторонней бабушки-старушки, одиноко плачущей на лавочке возле чужого многоэтажного дома?

Замедлил шаг. Остановился. Присел рядом.

— Что случилось?

Оказалось — горе. Что-то лопнуло в водопроводе-канализации. А в ПЭЖУ говорят: сами доставайте, ремонтируйте, а мы — оплатим расходы. Нашла необходимое, притащила, заплатила из пенсии, а не оплачивают — бумажку какую-то, оказывается, надо. А где она бумажку-то эту возьмет? Ходит, ходит — все от ворот поворот. Вот она и плачет — и не так денег жалко, как обидно, почему с ней так обошлись.

И тогда Алексей сам по инстанциям побежал. Ругался. Стыдил. Убеждал. Оплатили старой женщине расходы.

Современная она старушка — к богу всегда с прохладцей относилась, а тут вдруг:

— Спасибо, сынок. Дай тебе бог...

И перекрестила незаметно. В спину.

Чем можете вы объяснить такое поведение Алексея? Я объясняю одним — совестью.

Читаю в словаре Ожегова: «Совесть. Чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом».

Вот так — просто и ясно. Теперь понятно, почему «больше всех надо» Алексею. Есть у него это Чувство Нравственной Ответственности. И совестно ему не только за себя, но и за других.

— Неловко даже как-то и разговаривать с человеком, когда видишь его халатное отношение ко всему,— рассказывал он, описывая свою «кабинетную одиссею».

Если считать всех, с кем говорил, кому звонил, от кого добивался он решения проблем своего «поселка», то, пожалуй, наберется десятка четыре руководителей разных рангов (хотелось бы перечислить всех поименно, но места не хватит), соглашающихся, отделяющихся общими фразами, удивляющихся: «Как вы нашли, к кому обратиться?» и даже обещающих... когда-нибудь, потом. А он, по наивности, звонил через день-два: «Ну как?», чем приводил «обещающих» чуть ли не в священное негодование: «Так быстро разве вопросы решаются?»

И тогда комсомолец Свирицкий решил писать в ЦК КПСС — не мог он отступить, столкнувшись с волокитой, не такой характер. Но, по-

думав, отложил: «Подожду. Свои проблемы мы должны решать на месте. Не может быть, чтобы не решились они здесь». В последнем кабинете, куда он обратился, его выслушали и тут же приняли решение: «Сегодня в 14.00 собрать всех, кто отвечает за все эти вопросы».

Тогда в кабинете первого секретаря горкома КПСС Б. П. Свицова состоялся серьезный разговор о стиле работы. И продолжился он довольно необычно — экскурсией по улице имени Карбышева. Стояла июльская жара — путешествие по знойной, пыльной, неасфальтированной улице отнюдь не вселяло радость в души вырванных из прохлады уютных кабинетов двух десятков руководителей.

Но дело сдвинулось. Оказалось, что не полгода — всего несколько дней нужно, чтобы заработал телефон в детском саду, чтобы появились скамейки на остановках. Не возникло непреодолимых проблем и с изменением маршрута автобуса. И дорогу заасфальтировали, и агитплощадку построили.

Быстро? Оперативно?

— А это и есть перестройка, — считает Б. П. Свицов, — все в состоянии мы решить на месте. Но легче отмахнуться и спокойно жить. И в этом случае вся проблема из-за того, что живуч чиновничье-бюрократический стиль работы. А Свидрицкий молодец. С активной жизненной позицией человек, инициативный, неравнодушный. Таких людей надо поддерживать, привлекать к работе, а не воевать с ними.

Что ж, все разрешилось лучшим образом? Нет, рано заканчивать бодрым оптимистическим аккордом. Поняла это еще тогда, минувшим летом, во время «экскурсии» руководителей, услышав брошенное в спину Алексею:

— К его дому дорогу не провели персональную, вот он и возмутился.

Злая шутка тревожила и, как оказалось, не зря. Сколько сил, к примеру, Алексею потребовалось, чтоб доказать необходимость строительства футбольного поля, начать его расчистку. А ведь у него времени свободного не вагон: придет с ночного дежурства — и хозяйственных забот масса (в неблагоустроенном доме всегда найдется работа для мужчины), и с сыном надо заняться, и учебники почитать — собрался поступать в университет на заочное. А тут к нему уже бегут с просьбой — ведь избрали его председателем уличного комитета. А раз о чем-то попросили, кое-как отнестись к делу не может. Скажем, надо собрать людей на встречу с кандидатом в депутаты, так он не одно объявление, а тридцать напишет, чтобы каждый прочитал. Еще и по домам пройдет, предупредит.

Радует его, что люди на их улице гораздо активнее стали. Видят, что для них делается, и сами откликаются на просьбы. Решил, например, комитет заложить вечнозеленую аллею имени генерала Карбышева, так на субботник вышли без уговоров, хотя сосенки поздно вечером при-

безли, ветер разгулялся, чуть ли не буря. А люди рабогали. Разве не радость это видеть?

А слезы на глазах матерей, чьих сыновей всем «полком» торжественно, с цветами, музыкой, провожали в армию.

— Почему же раньше так не делали?— сокрушались.

Многое на улицах Карбышева — Фрунзе — Маяковского в первый раз. Праздник улицы с концертом, выставкой поделок, соревнованиями. Открытки, которые обнаружили в своих почтовых ящиках ветераны войны. Неформальные встречи с депутатами.

За Павла Васильевича Кирдеева, управляющего Тувинской конторой стройбанка, проголосовали вновь. Он постоянно встречается с избирателями, выкает во все просьбы уличного комитета. И он, и комсомольцы «Красноярскгражданпроекта», бесплатно, в свободное время сделавшие подробный чертеж спортгородка с расчетом всех материалов,— это радостные встречи на нелегком пути, выбранном для себя Алексеем.

Тянутся к нему и старшие, и молодежь. А особенно — ребятишки.

— Хорошие ребята у нас живут. Надо только организовать их — энергии масса. Подойдешь к любому из парней — ни в чем не откажут. А пацаны? Увидели — трактор пришел поле футбольное ровнять — бегут уже: «Дайте и нам дело».

Дело. Алексей считает, что именно оно нужно и мальчишкам, и подросткам постарше. Пока есть у них лишь две неоформленные комнатки. И еще есть мечта. Мечта Алексея, ставшая и мечтой всех ребят с улицы. Это — открытие в «поселке» детского военно-спортивного клуба имени генерала Карбышева, который объединил бы ребят с 7 до 18 лет. Чтобы был и свой устав, и форма, и кандидатский стаж. Набросал уже положение, обсудил с ребятишками. В мечтах три отряда видятся им — «Автомобилист», «Олимпия», «Пограничник», в которых смогут пацаны и на картингах гонять, и собаководством заниматься, и конным спортом, и просто крепнуть, мужать, становясь настоящими мужчинами.

Алексей уже и с московским клубом «Гайдаровец» списался, и с саяногорским «Десантником».

Отступать от мечты не собирается. Потому что растет сын — три года уже. И, глядя на шустрого, любознательного малыша, вспоминает он свое детство и не хочет, чтоб провел его сынишка на пустом ипподроме или на свалке. Потому что не только лонаслышке знает о наркомании среди молодых.

— Наркомания растет быстрее, чем такие клубы,— тревожится он. — А ведь пацаны эти скоро на производство придут. Что это будут за люди? Я сперва как хотел? Организовать клуб только для ребят со своих улиц. А потом думаю — нет. Тут надо брать шире. Весь микрорайон надо брать. Если мы упустим это поколение, потом долго догонять придется.

Так рассуждает Алексей Свидрицкий. Настоящий комсомолец. Гражданин. Для него личные проблемы неотделимы от проблем улицы, горо-

да, всей страны. Для него слова «перестройка», «демократизация» — не абстрактные слова, относящиеся к чему-то вообще, а касающиеся его лично.

— Одно время апатия какая-то наступила, были минуты — хотелось все бросить. Столько времени, сил уходит на это, а тут еще разговорчики нехорошие пошли: высовывается, мол. Но потом подумал: если брошу, не расшевелю народ — опять все заглохнет.

Вот теперь время объяснить, почему каждый раз при встрече с Алексеем Свидрицким возникают у меня противоречивые чувства. Да вы и сами, наверное, уже поняли.

Радость от того, что живет рядом хороший человек. Уважение — за то, что не отступает, верен данному себе и людям слову. Горечь за то, что его энергия, энтузиазм часто расходуются впустую, разбиваясь о превосходящие силы бюрократов. Стыдно за себя саму: всегда ли и во всем, как Алексей, шла до конца?

Пример Свидрицкого заставляет задуматься об очень серьезном: все ли, что можем, делаем мы для людей, для своей страны?..



*Монгуш ЭРГЕП*

## КАК ВСЕ СОЛДАТЫ

*(Очерк)*

Симаковы переехали в Туву еще до революции. Здесь, в местечке Теректиг-Аксы блиа Кара-Хаака, в 1916 году в семье Поликарпа Георгиевича и Евдокии Михайловны родился третий сын — Саша. Рос вместе с Чооду Сундуем, Байкара Мангыром, другими тувинскими мальчишками. Один из его друзей, а теперь мой сосед, Иван Серенович Сандый не раз мне говорил:

— Почему не напишете о Саше? Из Кызыла приезжают писать в газеты и журналы о фронтовиках, которые здесь недавно, переехали из других мест. Мы их хорошо и не знаем. А вот ушел отсюда на фронт и вернулся сюда, в Черби — Кара-Хаак, один Саша Симаков. Отсюда уехали на войну четыре сына Поликарпа Георгиевича, да еще четверо их родственников, всего, значит, восемь человек. А вернулся, остался в живых один только Саша. Напишите о нем.

От Ивана Сереновича узнал я о трудной судьбе Александра Симакова, человека, с которым встречался каждый день, даже и не задумываясь, что он — фронтовик.

Образование у Александра Поликарповича — всего три класса. В 1924 году, на четвертый год народной власти в Туве, в год смерти

великого Ленина, пошел Саша в школу в Кара-Хааке. А эта школа в то время была начальная, только до третьего класса. Чтобы учиться дальше, надо было куда-то уезжать. Но в крестьянской семье каждый — работник. И лет с десяти-одиннадцати Саша вместе с братьями помогал отцу вырачивать хлеб, ходить за скотом. Игры со сверстниками-тувинцами скрашивали его досуг. Так и вырос он вместе с четырьмя братьями. Двое старших уже своими семьями обзавелись. Александр, в двадцать пять лет, жил еще с родителями.

Внезапно мирной жизни пришел конец — черные тучи закрыли ясное небо. Молнией облетела всю Туву весть: фашистская Германия вероломно напала на СССР. Знали араты и русские крестьяне, что прежде того фашисты захватили всю Западную Европу, что велика их военная мощь. Тревожно было на душе у каждого, хотелось и свои силы вложить в трудное дело борьбы и победы над жестоким сильным врагом.

Девять детей — пятеро сынов, четыре дочери — было у Поликарпа Георгиевича. Старший, Дмитрий, сам уже отец троих детей, жил в Черби, отдельно от родителей, но рядом с ними. Николай, уже семейный, и неженатый Наврил — в Кызыле. Эти двое уехали на фронт первыми из Симаковых, еще зимой 1941 года. Дмитрий и Саша первой военной осенью помогали отцу убрать урожай с поля, дома встретили новый 1942 год. В начале февраля из Комитета советских граждан пришли им повестки. Несколько дней готовились в дорогу, и седьмого февраля в полдень вышли братья за порог родного дома. Не в путешествие отправились, не в гости — на смертоубийственную войну. Только тринадцатилетний Ленья из всех пятерых остался дома.

Проводил Поликарп Георгиевич сыновей, выделил для фронта четырех хороших коней, скота и денег, сколько мог.

Те, кто уходил на фронт из Черби, выехали из села на двух лошадях, запряженных в сани. В Кызыл приехали рано. Там их уже ждали грузовые машины. На рассвете тронулись в путь, в «Союз», как тогда называли здесь СССР. Саша смотрел и видел, как исчезает вдаль Енисей, а вместе с ним и родное село. И ледяной енисейский ветер казался ему теплым дыханием родины.

С машины пересели на поезд, доехали до города Бийска на Алтае. Там из прибывших была создана 232-я стрелковая дивизия, до 29 апреля шла воинская учеба. Потом посадили всех в товарные вагоны. Ехали день и ночь и прибыли в город Воронеж. Первый бой с фашистами был у реки Дона.

Александр вместе с братом Дмитрием попал в саперную часть. Обязанности саперов — очень трудные и опасные. Они должны минировать участки, занимаемые врагом, разряжать оставленные им при отступлении мины, срочно строить мосты для наступления, а, отступая, построенное разрушать... Где необходимо — протягивать колючую проволоку, а надо — снимать ее.

— На фронте любое задание должно быть выполнено отлично и в срок. Саперная часть идет всегда впереди армии,— вспоминает Симаков. Заминировали мы большой мост через Дон. Знали: если фашисты нас оттеснят к реке и бросятся к нему, разрушим его. Несколько раз враги теснили нас. В конце концов, обрушивая на наши части град раскаленного свинца, они сосредоточили машины и технику на мосту. Тут мы его и взорвали. Пока стояли в обороне, нам зачитали приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина: от Дона не отступать ни шагу. С начала июня 1942 года и по 20 декабря, не дрогнув, стояли мы на одной оборонной линии. Потери батальон нес большие. Там убили и моего старшего брата Дмитрия,— Александр Поликарпович смолкает, видно, в который раз переживая горечь потери. Немного погодя, продолжает:— Батальон редел, его пополняли новыми бойцами, и так по многу раз. Помню, за одну неделю пришло в него до 50 новых бойцов, однако через сутки осталось менее 30 человек. Кто знает, сыновья каких матерей сложили головы на берегу реки Дона!.. Мой неразлучный товарищ — все время вместе воевали — Леня Левченко был очень смелым человеком. До войны работал шофером, тогда редкая еще профессия была. Так вот, судьба у нас с ним, что ли, была такая, но после самых горячих сражений мы с Леней оставались целы и невредимы. Леня везде и всегда окопается. Я подражал ему. Если хочешь остаться в живых, надо в землю глубже уходить — так, говорили, наказал сам маршал Жуков, когда посетил части в обороне.

Помню, там, на Дону, к нам прибыли два новых солдата. Мы были тогда не на передовой линии, а в «тылу», в сравнительном от нее отдалении. Стали чай кипятить в солдатском котелке, Леня по привычке начал рыть окоп, и я за ним. Новички удивились и с издевкой спросили:

— Для чего здесь окоп нужен, дядя? Мы ведь в тылу.

— Понадобится, племяннички,— ответил Леня.— Вам тоже следовало бы окопаться.

— Да ну его! — махнули они рукой.— Зря только силы тратить. Отдохнем лучше хоть немного.

И действительно, кругом было тихо и спокойно. Но только сняли чай с огня, начали пить, видим, очень низко летит большой самолет со свастикой. Мы с Леней тотчас, словно мыши, ныгнули в окопы. Командир взвода тоже на меня прыгнул. Когда затих грохот бомбардировки, мы высунули головы и увидели: оба наших молодых товарища убиты.

20 декабря 1942 года, при форсировании Дона, Александр Симаков был ранен в правую ногу осколками снаряда, лежал в госпитале. Теперь он рассказывает:

— Когда снаряд прямо на тебя летит, звука его не слышишь; а если мимо, слышен вой и свист его падения.

Из госпиталя Симаков попал в двадцать третью сменную дивизию, интернациональную. Из каких только народов не было в ней солдат!

А сражались все вместе за древнюю славянскую реку. Линия фронта тогда дошла до Днепра. Когда форсировали его, первым успешно переплыл реку на лодке сапер-киргиз. Наверное, этот смелый солдат носит звание Героя Советского Союза. Такая награда была обещана тому, кто первым переплышет и лодку сохранит. Много лодок тогда превратилось в щепки. И тут своя особенность: когда снаряд падает в воду, осколки его летят не в стороны, как на суше, а вверх.

В ноябре 1943 года, в канун 26-й годовщины Великой Октябрьской революции, перешла дивизия Днепр. Но положение осложнилось: кончились патроны. Боец-сапер Александр Симаков получил приказ быстро переправить патроны с той стороны реки.

Прибежал Саша к реке, у берега увидел две лодки, простые, управляемые веслами. Спустил одну на воду, поплыл. Немцы заметили движущуюся лодку, начали обстреливать. Вокруг засвистели горячие пули, словно камешки, с бульканьем сыпались в воду. Несмотря на это, переплыл он реку. Четыре ящика боеприпасов поставил в лодку и поплыл обратно. Вода снова вскипела вокруг лодки, вражеские пули били гуще града. Однако — удивительное дело! — ни одной царапины не получил тогда Саша. О смерти он в это время несколько не думал, а думал: во что бы то ни стало нужно переправить боеприпасы. Днепр широк, более девятисот метров. Достигнув середины реки, Саша вспомнил реку Урал и гибель Чапаева. Ненависть к врагу переполнила все его существо:

— Врешь! Не возьмешь! — кричал он, как герой любимого с юности фильма.

Рассказывает Александр Поликарпович, будто сам командир дивизии полковник Добромислов крепко обнял его за те патроны, за смелость. И второй раз, уже в другой лодке, поплыл Саша и еще столько же патронов привез.

Дивизия участвовала в решающих боях за Киев и Житомир. Во время тех боев, на кукурузном поле, Саша Симаков взял в плен «здоровенного фрица» — фашистского танкиста из войск СС. А всего за войну на счету нашего земляка пять «языков». За такое полагалась награда: десять суток отпуска домой. Но куда ехать Саше? Тува далеко...

За героизм, проявленный в боях за освобождение Киева, Александр Поликарпович Симаков награжден орденом Красной Звезды. Дивизия понесла тогда большие потери, ее, названную Киевско-Житомирской, снова пополнили свежими силами, а затем она отправилась в дальний пеший поход к Белоруссии. Дошли до Белоруссии — и сразу же участие в боях за города Калинковичи, Мозырь. Затем — большое сражение в Полесье. На пути дивизии непроходимые болота, ямы, где мог бы — должно быть, из тувинского детства пришло солдату такое сравнение — скрывается навьюченный верблюд.

Здесь Александр Поликарпович с тремя товарищами отправился в разведку. Удивительная была та разведка! Не в тыл противника, а в



свой тыл. Позади расположения дивизии рос маленький сосновый бор. Взберешься на верхушку дерева — и видно, что делается на вражеской территории, впереди дивизии. Сидишь и считаешь, сколько и какую технику имеет враг, много ли живой силы. Все эти сведения передаешь сидящим внизу, а те сообщают по телефону в штаб.

И случилось тогда, в разведке, неожиданное. Александр Поликарпович рассказывает так:

— Смотрим, три наших солдата с двумя женщинами в пестрых платьях направляются к нам безо всякой опаски. У солдат и пилотки, и гимнастерки, и автоматы — все советское. Только женщины какие-то странные. Белоруски в ту пору были изголодавшиеся, измученные жестокой оккупацией, у каждой — свое горе. А эти... Приплясывают, кривляются, обниматься к солдатам без стыда лезут. Может, так рады освобождению? Так или иначе, мы, поверив, что это свои, как ни в чем не бывало, продолжаем наблюдение. Вдруг слышим: «Руки вверх!» И на меня наставлен немецкий пистолет — прямо в лоб! Я поднял руки и начал понемногу пятиться. Немец осмелел и набросился на меня, дуло пистолета коснулось моего лба. Вижу белую руку, держащую оружие. Был я тогда молодым, ловким и сильным. Схватил руку офицера и повернул ее так, что пистолет уже был направлен на него! Вот тогда я и понюхал, чем пахнет немецкий офицер. Наши солдаты и офицеры все пахли одинаково — горьким воинским потом. А от немецкого офицера шел запах духов...

Это была моя первая рукопашная схватка, — продолжает ветеран. — Я и еще один мой товарищ боролись с пятью немцами. Двое других нас подвели: тот, что говорил по телефону, спрятался за деревья и убежал; а тот, что сидел на вершине сосны, так и продолжал там тихонько сидеть. А ведь если бы они, собаки, пошевелились, разве немцы смогли бы нас взять в плен! Они только за свою шкуру дрожали! Ведь у каждого был боевой автомат, 71 патрон в магазине, — еще и сейчас возмущается Симаков.

— Одна из «женщин» — это тоже были переодетые фашисты, — как стукнет меня по темени прикладом автомата — искры из глаз посыпались, и я потерял сознание. Вот, наверное, радовались немцы, что «языка» поймали. Здорово мучили нас с товарищем. Но ни одного слова не услышали от нас фашисты. Случилось это 29 мая 1944 года... Лишь накануне Победы, почти через год, мне удалось бежать из плена.

Тех подлецов, которые с нами тогда были в разведке, я, возвратившись из плена, долго и старательно искал, но так и не нашел. Да и не до них было: Красная Армия подходила уже к Берлину. Близок стал час Победы! Как было не радоваться!

Пока запасной полк шел к Берлину, чтобы принять участие в его штурме, пришла Победа!

Но долго еще после нее не распускали полк по домам: в мире было беспокойно, бывшие союзники в борьбе против гитлеризма, Англия и Америка, тайно ополчались уже против нас.

...Только в 1947 году Александр Поликарпович вернулся в родное село Черби. Родители были живы. С чем сравнить радость Поликарпа Георгиевича и Евдокии Михайловны! Вернулся живым их сын, которого не чаяли дождаться.

Семеро Симмаковых — двое дядьев, младших братьев отца, двое их сыновей и трое Сашиных братьев — сложили головы за Родину. Но жизнь продолжалась, и надо было налаживать ее, а для этого — много работать.

В то время в Черби не было ни радио, ни телефона. А. П. Симмаков получил из Кызыла назначение на должность заведующего открывавшимся узлом связи. Поставили телефонные столбы от Кара-Хаака до Черби, и в 1951 году появились там и радио, и телефон. До 1983 года работал Александр Поликарпович в узле связи монтером. Уже 67 лет было ему, однако наденет «кошки» и, как белка, почти бегом взбирается на столб. Удивляясь ловкости пожилого человека, я кричал:

— Оо-оо, Поликарпович! Какой же ты легкий! Это, наверное, потому, что человек военный?

Он возражал мне:

— Жизнь всегда в движении. Нельзя человеку долго сидеть или лежать на месте. Надо постоянно двигаться. Шагать и бегать. Работать и играть в подвижные игры. На близкие расстояния всегда хожу пешком. И утреннюю зарядку делаю, да не как попало, а ежедневно, по пятнадцать минут, когда передают по радио. Это человеку здорово помогает, силы и ловкости прибавляет, укрепляет здоровье.

В том же 1947 году Саша женился на девушке Тамаре, она учительствовала в Чербинской школе. Тамара Яковлевна и сейчас здесь преподает, награждена медалью «Ветеран труда».

У них трое детей. Старшая Ольга работает в совхозе «Кара-Хаак», вторая, Любовь, — в Кызыле врачом, сын Борис учится в Иркутске на охотоведа.

Александр Поликарпович, как все ветераны-фронтовики, часто встречается со школьниками и молодежью села. Рассказывает о войне, а мечтает о мире для них, для их детей и детей их детей — для всех земных поколений.

Как все старые солдаты.

Вячеслав ТИМОФЕЕВ

## ПОВЯЗКА НА ГЛАЗАХ

В одну из суббот в нашу редакцию зашел помятый гражданин в потрепанном пальто и сказал весело и зло:

— Привет, дармоеды!

Человек обижен, и, как часто бывает, склонен думать, что только он работает, а все остальные без спроса берут куски с его стола. Исходя, должно быть, из этих соображений, помятый гражданин сказал:

— Вот вы дали объявление, что общественная приемная при редакции имеется. А я вам скажу: разговоры с вами меня не интересуют. Меня интересует одно — есть справедливость на свете или нет?

Человеку, обладающему такой стремительной логикой, сразу и ответить-то непросто. Поэтому, наверное, я и спросил несколько формально:

— Что вас волнует? Конкретно.

— Конкретно — ничего. Справедливости повсюду — кот наплакал, вот что я хочу сказать. А вы сидите тут, как пни, и ничего вокруг себя не видите.

И дальше он начал перечислять в гневе великом, что имеет серьезные претензии к горвоеноккомату, республиканской больнице, Министерству внутренних дел и прочим солидным и менее солидным организациям. Заслуживало внимания то, что я так и не смог разобраться в потоке невнятных обвинений этого гражданина. Судя по всему, он с утра ступил не на ту ногу, а в таком состоянии люди бывают взвинченными и могут осуждать всех и вся. В том числе, ни на минуту не усомнившись, записать и редакцию в разряд организаций, где властвует дремучий бюрократизм.

Пройдет, вероятно, у этого человека полоса неудач, мир в его глазах снова обретет веселые краски, и он будет начинать разговор немного повежливее, с достаточной долей уважения к чужому и отнюдь не легкому труду.

Сердитый этот посетитель оставил горький осадок. Поэтому хотелось бы повести речь, так сказать, о штатных ворчунах, о тех, кто систематически занимается злопыхательством по разным мотивам, а чаще без мотивов — просто так.

Живет в нашем многоквартирном доме преклонных лет женщина (фамилию из уважения к возрасту называть не стану). Частенько посиживая летними вечерами на скамеечке у своего подъезда, она рисует нашу жизнь во всех ее проявлениях исключительно мрачными тонами: молоко у нас продают кислое, творог старый, хлеб черствый, автобусные билеты дорогие (пора, мол, уже и бесплатно ездить), бродячие собаки скоро загрызут население вконец, в крови у всех пацанов — бандитские замашки, а мужская половина населения регулярно ходит хмельная.

Послушаешь такие разговоры и невольно задумаешься: не пора ли, в самом деле, принимать крутые меры? За молоко, творог, хлеб и прочие продукты, допустим, можно высыпать по первое число работникам Кызылпродторга и соответствующих предприятий. А вот собаки... Куда насчет собак обращаться? В исполком горсовета? И насчет пьяных куда? Ведь «поголовно пьяные». А насчет билетов? Тут уже местными властями не обойдешься — бери выше. Что касается потенциальных бандитов, то самые крутые меры к ним сообщда должны принять министерства внутренних дел, просвещения, культуры и так далее.

Да.

Потом, поразмыслив, я все-таки сказал женщине, что билеты у нас, как утверждают компетентные люди, самые дешевые в мире, что бродячих собак бездумно разводим мы с вами, что не вся сильная половина человечества толкается в винных магазинах — подавляющее большинство трудится хорошо и даже перевыполняет планы и нормы, а молоко в магазинах чаще продается свежее — сами покупаем.

Еще об одной женщине.

Однажды во втором жилищно-эксплуатационном участке мне невольно пришлось быть свидетелем неприятной сцены. Дама бальзаковского возраста при кольцах и перстнях, въехавшая в благоустроенную квартиру, пришла в участок не с благодарностью. Она стенала и кляла «мучителей» выше-названной организации, которые при перерасчете квартплаты

будто бы удержали с нее 3 рубля 50 копеек лишку. Три с полтиной отняли у человека, судя по всему не бедствующего, радость новоселья, затмили белый свет. Работники жилищно-эксплуатационного участка, ясное дело, ошиблись неумышленно, тем не менее выслушали в свой адрес ряд громких и нелестных эпитетов. Жалобщица заплакала искренними слезами и пообещала свести счеты со всеми бюрократами, какие есть и какие будут.

В нашей редакционной почте иногда бывают письма, авторы которых стараются остаться в тени, то есть фамилий своих не указывают. Им, видно, так удобнее жить. Или резвее излагаются мысли — не знаю. Вспоминается пространное послание на двух тетрадных листах в клеточку. Некий бесфамильный читатель с большим возмущением писал, что на трассе Ак-Довурак — Кызыл водитель рейсового автобуса натолкал в салон столько пассажиров, что им не только сидеть — на одной ноге стоять негде было.

Встречаются, к сожалению, подобные случаи, чего греха таить? Поэтому мы позвонили в Пассажи́рское автопредприятие с намерением узнать анкетные данные зарвавшегося водителя. И узнали, что автобуса под таким номером не существует, что «длинного, визгливого и пожилого шофера», как явствовало из письма, на этом маршруте пока не наблюдалось.

Ну зачем, спрашивается, изобретал человек ситуацию, зачем истратил копейки на конверт и бросил его в почтовый ящик? Полагаю, скука задавила. Нет бы пойти в библиотеку, взять интересную книжку. Но книжка ведь ничего не даст — прочитал и забыть можно. А вот сочинить собственный пасквиль и поднять на ноги окружающих — куда интереснее.

А дальше бесфамильный читатель мелким почерком заполнил всю оставшуюся площадь двух тетрадных листков. В этих строках — ни одного светлого штриха, ни одного доброго дела и доброго слова. Все кругом черно и несправедливо. Врачи, они плохие: шесть лет, оказывается, товарищ носил в ухе кусок бинта, забытый там после операции, пока не нашелся интеллигентный специалист и не вытащил бинт из того места, где ему быть не следовало... Мясорубок в продаже нет. В узле связи правды никогда не добьешься. И так далее, и тому подобное. В какую сторону податься честному гражданину? — куда ни кинь — всюду клин...

Нельзя сказать, что все жалобы и кляузные письма приходят к нам бесфамильными. Не раз нашим сотрудникам в

псжарном порядке приходилось выезжать по вызовам, но, увы! — ложным. К примеру, по такому: «Начальник наш, — писал автор, — постоянно путает личное с общественным. В августе этот руководитель справил свое пятидесятилетие в ресторане «Улуг-Хем», где его приближенные и подсевалы перебили большинство посуды, на кухне гонялись за официантками и уронили в двухсотлитровый котел всеми уважаемую повараху тетю Клаву, отчего она получила производственную травму. Благо бы, если этот начальник гулял на свои кровные, а то ведь плакали денежки казенные».

Можно ли было, скажите, сразу не отреагировать на этот тревожный сигнал? Нет, конечно. Но письмо, отправленное в редакцию в сентябре 1985 года, опоздало, как выяснилось, на... пятнадцать лет. Оказалось, что начальник справлял день рождения полтора десятка лет назад, ни одной тарелки его помощники и подчиненные не разбивали, а всеми уважаемая повараху тетя Клава, целая и невредимая, четыре года находится на пенсии. Выяснилось также, что профсоюз в ту давнюю пору выделил начальнику, отдавшему предприятию всю сознательную жизнь, сто рублей премии.

— Почему же вы не сообщили о вопиющем, как вы утверждаете, факте пятнадцать лет назад? — спросил журналист у автора письма.

— Пятнадцать лет назад начальник меня не обижал, — сказал автор спокойно. — Тогда мы жили с ним душа в душу. Но в восемьдесят пятом году он мне крепко насолил.

— И в чем же это выразилось?

— А он меня сократил.

«Не обижал». «Жили душа в душу»... Сравнительно молодой механик, в течение многих лет работавший, откровенно говоря, с прохладцей, на что ему не раз указывали, со временем состарился и стал пенсионером. В связи с чем ему и предложили уйти на заслуженный отдых. После этого бывший механик и по совместительству постоянный словоблуд, всегда считающий себя правдолюбом, решительно сел за стол и накатал письмо в редакцию, хотя никакого «кричащего» факта в наличии не имелось. И размахисто подписался.

Приливы подобной неукротимой принципиальности, порождаемые исключительно личной обидой, не единичны. И, что характерно, появилась новая разновидность обличителя. Подтверждение тому — другой случай.

По словам Плешевени, руководителя ряда предприятий Кызыла хапают, что хотят. А работники прокуратуры, ОБХСС

и другие органы, кому следовало бы пресекать эти злодеяния, скромно помалкивают, поскольку у самих рыльце в пушку. А он, Плешевеня, рыцарь без страха и упрека, вынужден был уйти на пенсию, чтобы не испытывать гонений за правду.

Опять журналист поехал по указанным адресам и через две недели убедился, что выручать надо не Плешевеню, а «злостных зажимщиков критики», как явствовало из письма. Почему? Потому что Илья Макарович Плешевеня находился на пенсии и весь досуг, которого было хоть отбавляй, отдавал разоблачению. Желание это накапливалось не годами, а возникло в тот момент, когда он решил, что его, как он выразился, «обжали на повороте».

— Трехкомнатная квартира мне как достойному ветерану труда полагается?— стал он загибать пальцы перед журналистом. И, не дожидаясь ответа, быстро начал перечислять другие требования к руководству:— А путевку в Евпаторий, которую мне выделит ВЦСПС,— куда они ее задевали? А триста рублей за рационализацию? А...

— Постойте.— Журналист понял, что это перечисление может продолжаться бесконечно, и сказал:— Ваши претензии, Илья Макарович, необоснованны — я все проверил. А если вы не перестанете терроризировать некоторых руководителей, я буду вынужден написать фельетон. О нас. Как о зарвавшемся сутяжнике...

Что же произошло?

— Дорогие мои начальники!— заявил в свое время Плешевеня.— У меня к вам ультиматум. Какой? А вот такой: мне нужна трехкомнатная квартира, я должен расписаться в ведомости за рационализацию, получить путевку в Евпаторий, купить вне очереди «Москвич» и так далее. Выполните это — хорошо, а нет — вечный вам бой, и покой вам будет только снится. Стану писать во все инстанции, и какая-нибудь из них решит дело в мою пользу. Может быть, частично, но все равно решит. Я заслужил...

— Принять ваши условия мы не можем,— сказали ему,— ибо они абсурдны. Рационализатор вы, мягко говоря, никудышный, а что касается квартиры, живете в двух комнатах с женой. Чего вам еще надо?

— Ах, так?! Тогда я сегодня же сяду за писанину.

Писать у нас никому не запрещено — ни тем, кто это умеет, ни тем, кто в слове «еще» делает четыре ошибки. Илья Плешевеня с детства испытывал отвращение к фонетике и синтаксису, и, естественно, к письму, по поводу чего решил

завершить образование в шестом классе. Нисколько не сожалея об этом, с годами он заключил, что с незаконченной семилеткой у нас не пропадешь так же, как, скажем, интеллигенты с дипломами и с очками впридачу. Пришедши к такому выводу, слесарь Плешевеня стал именовать писателей и журналистов «бумажными пачкунами» и принципиально не читал газет и книг. Журналист, который разбирал его жалобу, все недоумевал:

— Я с ним разговаривал четыре раза и не услышал ни одного толкового слова. Как же такой пустоголовый человек мог написать более или менее складное письмо?

Удивляться было нечему. Оказывается, для эпистолярных упражнений Плешевеня нанимал адвоката — многословного рыхлого молодого человека, довольно-таки своеобразно понимавшего слово «совесть». Адвокат сочинил витиеватый жалобный трактат и твердо верил, что сентиментальные руководители, прочитав его, должны будут прослезиться и на неделю потерять аппетит.

Не накладно ли было пенсионеру нанимать юриста? Вероятно, не особенно, поскольку одной стандартной жалобы ему хватало надолго. Плешевеня сразу заготавливал впрок как можно больше экземпляров, а потом, по мере надобности, выводил лишь нужные адреса на конвертах. Этот поточный метод избавлял его от лишних хлопот, экономил время и силы для дальнейшей борьбы. В результате каждый раз приезжали новые комиссии и переворачивали все заново.

— Да вы что, белены объелись?— спросили в конце концов у пенсионера.— На ровном месте вы делаете проблему! Вам не стыдно?

На что Илья Макарович отвечал:

— Побе-егайте, кролики. А я буду сидеть на диване, смотреть цветной телевизор с Райкиным, а вам скажу: пока не выполните моих условий — мира не будет.

И в подкрепление своих тезисов шел в народ.

— Твой начальник отгрохал дачу, слышал?— спрашивал он у прораба строительного управления Евстигнюка.— Между прочим, за счет управления. Значит, и за твой счет. Вот ежели поможешь мне его разоблачить, я позабочусь, чтобы тебе выделили одну из отнятых дач.

— Реквизированных, что ли?

— Чего, чего?

— А ну тебя!..— Евстигнюк не слышал ни о какой даче начальника и быть компаньоном пенсионера-разоблачителя, разумеется, отказался.



Тогда Плешевеня подкатился к бывшему сослуживцу Целищеву:

— Ваш председатель профкома торгует путевками, — прошелестел он. — Давай выведем его на чистую воду.

— Но я не видел.

— И я не видел, — сказал Плешевеня. — Но нас уже будет двое.

Получив и тут от ворот поворот, пенсионер стал искать подписи под свои сигналы в других местах, а руководители некоторых предприятий, в свою очередь, терпеливо копили оправдательные бумаги, хотя оправдываться, по сути дела, было незачем.

Удивительная, одним словом, сложилась ситуация. И удивительнее всего то, что невозможно определить ни позиции Плешевени, ни тех, кому он объявил ультиматум. И лишь после вмешательства редакции этот старый правдоискатель немного утихомирился.

А другие не пишут, другие негодуют с глазу на глаз или по телефону. Встречаю в феврале минувшего года знакомого. Он потербил пуговицы моего пальто и после вступительной фразы о погоде и жутких холодах напрямик спросил:

— Унтами в «Детском мире» из-под прилавка торгуют, слышали?

— Нет, — сказал я. — У меня валенки есть.

— До форменных безобразий докатились: все из-под полы, все — омерзительно. Жить не хочется. И куда пресса смотрит?

— Вы были в магазине? Уверены, что это так?

— А зачем? Мне Евдокия Силовна сказала. Уж ей-то я верю больше, чем собственной жене...

Пришел на работу, зазвонил телефон:

— Редакция? Протащили бы в газете нашего завхоза, а заодно — его покровителей. Гонит направо и налево запчасти, линолеум, краски. Недавно купил гараж, зятю выделил дом с мансардой. А в данное время, по слухам, прицеливается на «Волгу». Так можно разворовать все государство.

— Вот обо всем и напишите нам.

— Э-э, нет, мне писаниной заниматься некогда. Мне работать надо... Значит, и у вас правды не добьешься? А я-то думал...

Недостатков, мелких и покрупнее, у нас еще немало, согласен, но ведь и хорошего много. Хорошего, если на то пошло, больше. Так зачем же смотреть на мир однобоко,

лишать себя положительных эмоций и самого дорогого — жизни — из-за унтов или 3 рублей 50 копеек? Врачи, между прочим, считают, что положительные эмоции — залог здоровья, и это обстоятельство желательно иметь в виду.

Мы вовсе не против критики, она нужна, она составляет суть нашей социалистической демократии. Критикуйте, пожалуйста, но конкретно и по существу. Да, есть у нас руководители, злоупотребляющие служебным положением, есть рвачи и хапуги, путающие государственное с собственным, есть и начальники, построившие за счет казны гаражи и дачи. Их надо изобличать, но вовсе не такими примитивными методами, как это пытаются сделать некоторые.

Следовательно, ультиматуму кляузников, ворчунов и вымогателей надо всегда противопоставлять ультиматум принципиальности. Иными словами, филистеры и нытики должны получать отпор — ради правды и объективности. Человека мы уважаем, но и человек обязан уважать общество, в котором он живет.

## ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Шестьдесят лет исполнилось известному тувинскому поэту *Юрию Шойдаковичу КЮНЗЕГЕШУ*.

Родился он в Тодже, в семье охотника. В литературе работает с 1944 года, еще студентом был принят в члены Союза писателей СССР.

Книги его стихов «Степной мотив», «Знамя дружбы», «Песни младшего брата», «Цвета времен», «Поделюсь радостью», «Орел. Любовь. Труд», «Встречай солнце», «След человека», «Сердце Саян», «Меч Багыра», «Сказания у костра» и другие — большой вклад в развитие тувинской поэзии. Юрий Кюнзегеш своим творчеством создал поэтическую летопись нашей республики. Он — подлинный певец дружбы народов, их духовного братства, преемственности культур. Не случайно его стихи переводили

на русский язык Михаил Светлов и Семен Гудзенко. А сам он переводил на тувинский язык Пушкина, Лермонтова, Горького, Шиллера, Мольера.

Юрий Шойдакович — заслуженный работник культуры Тувинской АССР. За многолетний труд в книжном издательстве он награжден знаком «Отличник печати». Требовательный к себе и другим редактор, энергично добивающийся продвижения к читателю всего лучшего, что создается в тувинской литературе — таким знают Кюнзегеша поколения поэтов и прозаиков республики.

Поздравляя Юрия Шойдаковича с юбилеем, литературная общественность Тувы желает ему здоровья, долгих лет жизни, полной радости, счастья и творческой энергии.

## СЛОВО ПРОЩАНИЯ

24 апреля ушел из жизни на семидесятом году старейший писатель нашей республики, один из зачинателей тувинской литературы **ЛЕОНИД БОРАНДАЕВИЧ ЧАДАМБА**.

Он родился в Тодже 18 марта 1918 года. Раннее сиротство закалило характер будущего писателя. Пионерская и ревсомольская юность, годы учительства и научной работы прочно связали его со школой, с просвещением родного народа. Автор многих учебников родного языка для начальной школы, он как драгоценные жемчужинки рассыпал по их страницам строки своих стихов. Всерьез занялся литературой с 1941 года, в Союз писателей был принят в 1945. Был министром культуры Тувинской АССР. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, награжден орденами и медалями. Заслуженный работник культуры Тувы.

Книг у него издано немного, всего пять — «Счастье», «Голубые реки», «Поколения», «Путешествие», «Избранное». Но с его звонкими стихами выросло несколько

поколений тувинских ребятишек. В развитие и становление культуры нашей республики вклад Леонида Борандаевича Чадамба велик и неопределим.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

\* \* \*

И еще одну потерю понесла в этом году тувинская литература. Не стало одного из ее старейших переводчиков и бессменных редакторов поэтических книг **ПАВЛА ИЛЬИЧА ЖЕЛЕЗНОВА**.

Путь от беспризорника до известного в стране поэта прошел Павел Ильич. «От «пера» к перу» называлась его первая книга стихов. Еще совсем юного, его заметил А. М. Горький, помог его литературному самоопределению. Павел Железнов участвовал в Великой Отечественной войне, защищал Москву в составе героической Панфиловской дивизии. Получил тяжелое ранение, но инвалидность не лишила его стремления к творчеству, духовных сил и энергии, которую он как бы излучал на

других, в свою очередь помогая творческому становлению поэтов, в том числе — тувинских. Большая дружба связывала его со Степаном Сарыг-оолом, Сергеем Пюрбю, Юрием Кюнзегешем, Олегом Сувакпитом, Монгушем Кенни-Лопсаном, Екатериной Тановой, Светланой Козловой. Охотно редактировал он и книги молодых, коллективные и первые индивидуальные сборники.

И в поэзии, и в прозаической книге воспоминаний Железнов бла-

годарно говорил о тех, кто помогал ему в творческом пути. Писал о Горьком, Маяковском, Есенине, о педагогах и рабочих-наставниках. Всего за месяц до смерти — а умер он 19 мая 1987 года — читал рукописи поэтов Тувы и хлопотал об улучшении условий жизни девяностолетнего человека, который был воспитателем в трудовой коммуне 20-х годов, где получили путевку в жизнь Павел Железнов и его товарищи. Таким мы знали его и започним навсегда.

# Содержание

---

## ПРОЗА

<i>Михаил Пахомов.</i> Так восходила заря (записки очевидца) . . . . .	3
<i>Владимир Кан-оол.</i> Дети Чагытая (из повести) . . . . .	10
<i>Монгуш Кенин-Лопсан.</i> На реке Лосиной (главы из романа «Юрта табунщика»). Перевод <i>С. Козловой</i> . . . . .	19
<i>Вячеслав Бузыкаев.</i> День Памяти (из повести «Родительский день») . . . . .	36
<i>Валерий Сенчин.</i> Мария («Гавриелиада») . . . . .	57
<i>Аркадий Захаров.</i> Деньги (рассказ) . . . . .	81

## ДЛЯ ДЕТЕЙ

<i>Куулар Черлиг-оол.</i> Кудурук (рассказ) . . . . .	96
<i>Борис Камалиев.</i> Труды и годы (из автобиографической повести). Литературная запись А. И. Бармашова . . . . .	103

## СТИХИ

<i>Юрий Кюнзегеш.</i> «Высокая любовь», «Там, в ожидании яркого света». Переводы <i>К. Емельянова</i> ; «Мост». Перевод <i>А. Емельянова</i> . «Икебана», «Мой Азас», «В жизни долголетней». Переводы <i>С. Козловой</i> . . . . .	122
<i>Леонид Чадамба.</i> Советская Тува — частица Октября. На праздничной демонстрации. Крылатая юность. Любимая земля. Кобзарь в Туве. Переводы <i>Э. Цаллаговой</i> . . . . .	127
<i>Анатолий Емельянов.</i> Гракх Бабеф. «В яростной схватке добра...»	131
<i>Олег Сувакпит.</i> Хозяева страны. Искусница. Переводы <i>С. Козловой</i>	133
<i>Павел Железнов.</i> Александр Невский . . . . .	135
<i>Екатерина Танова.</i> «Случилось так...», «Ты распахнуть мне сердце поспешил...», «Всего лишь миг...» Переводы <i>Л. Миланич</i> : Расседлайте, хлопцы, коней. Перевод <i>А. Захарова</i> . . . . .	136
<i>Эмма Цаллагова.</i> Голос любви. Утренние стихи. Гадкий утенок. Последняя метель. Мастерство. Наука счастья . . . . .	138

<i>Марьям Рамазанова. Шончалап — хлебчки. Ветерок</i>	143
<i>Зоя Намзырай. Птицы детства. Птенец. «Кружат и кружат вихри-шаманы...» Перевод В. Прудникова</i>	144
<i>Монгуш Олчей-оол. Удивляюсь! Колыбельная. Переводы Г. Принцевой</i>	145
<i>Виктор Сагаан-оол. Скажу тебе, земля. Зачем прилетела ты? Учусь у матери-природы. Переводы Г. Принцевой</i>	147
<i>Антон Уержаа. Диалоги. Перевод Ю. Вотякова</i>	149
<i>Федор Потылицын. Свидание с Тувой. «Бегут светлоструйные воды...» На пароме. Баллада о собаке. На охоте</i>	150
<i>Николай Куулар. Тропа любви. «Стелются по октябрю...» Переводы Ю. Вотякова. В сердце моем. Перевод Т. Максименко. Ливень. Перевод В. Зуева</i>	153
<i>Комбу Бижек. Мое сердце хранит навсегда. Эжик ажык! (Открыта дверь!) «Когда страдая от разлуки...» Камень на тропе. Переводы В. Гордеева</i>	155
<i>Евгений Антуфьев. В то утро. «Мне снилось...» «Собаки гнали тишину...» «Выпали в осадок дни...» «Вновь пишу я адрес на конверте...» «Я в жизни — грешник, ты — святой...»</i>	161
<i>Анатолий Шкоркин. Рассвет. Утро. «Не дается нам счастье на вырост...» «Еще не осень...» «Кто не мечтал из нас о дальних странах...»</i>	163
<i>Ховалыг Артык. Земная сила. Мысли поэта. Переводы В. Колпакова</i>	166
<i>Юрий Вотяков. На сером асфальте</i>	167
<i>Кондратий Емельянов. «Улетят облака...» Ровеснику. Честь</i>	171
<i>Игорь Пргит. «Снежный барс» «Эней-Сай, мать рек, ты — чудо». Переводы А. Захарова</i>	173
<i>Саяна Ондур. Счастье. «Рано утром на птичьей зорьке». «За окном синий-синий вечер...» Жизнь. Снег</i>	176
<i>Александр Сапелкин. Тракт. «Резких поворотов хочу, резких...» Не надолго. Туве. «Я не верю в приметы...»</i>	179

## НОВЫЕ ИМЕНА

<i>Антон Кром. Солнце. Всего лишь сон</i>	183
<i>Валерий Белобедов. Мир природы. «Тусклое утро...» «Мой мир...» «Я не понимаю «Герники...»</i>	184
<i>Инна Дубникова. Мой календарь. Куст</i>	186

## МОНГОЛИЯ — ТУВА: ГОЛОСА ДРУЗЕЙ

<i>Билигийн Норов.</i> Цвети и здравствуй! Перевод <i>С. Козловой</i> . . . . .	188
<i>Куанхан Жумаханов.</i> Зима в Саянах. Перевод <i>С. Козловой</i> . . . . .	189
<i>Светлана Козлова.</i> По нежнофиолетовым снегам . . . . .	190

### ОЧЕРКИ, ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Надежда Антуфьева.</i> Человек, спешащий в завтра (очерк) . . . . .	191
<i>Монгуш Эрген.</i> Как все солдаты (очерк) . . . . .	196

### САТИРА И ЮМОР

<i>Вячеслав Тимофеев.</i> Повязка на глазах . . . . .	202
---	-----

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА . . . . .	210
СЛОВО ПРОЩАНИЯ . . . . .	211



На 1, 2, 3 стр. обложки фоторепро-  
дукции картин И. В. Сажина, И. П.  
Туренко, П. А. Полежаева, С. Ш. Саая,  
М. Ч. Чооду.

УЛУГ-ХЕМ № 23

литературно-художественный  
альманах

Редактор издания  
*В. А. Бузыкаев*

Художественный редактор  
*М. Ч. Чооду*

Технический редактор  
*А. А. Чернова*

Сдано в набор 31.07.87. Подписано к  
печати 25.09.87. ТС 01662. Формат  
60×84<sup>1/16</sup>. Бумага тип. № 1. Гарни-  
тура литературная. Печать высокая.  
Физ. печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 12,6.  
Усл. кр.-оттисков 12,95. Уч.-изд. л.  
12,22. Цена ~~36 руб.~~ Тираж 3000 экз.  
Заказ 1585. Тип 1987 г. Тувинское  
книжное издательство, 667000 Кы-  
зыл, ул. Щетинкина и Кравченко, 57.  
Типография Госкомиздата Тувинской  
АССР, 667000 Кызыл, ул. Щетинкина  
и Кравченко, 1.

36-00

~~90 коп.~~

**КЫЗЫЛ**

**ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**